



ТЕОДОР
ДРАЙЗЕР

ЭТО
БЕЗУМИЕ

NEOCLASSIC
ПРОЗА

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Драйзер Т.

Это безумие / Т. Драйзер — «Издательство АСТ»,
2024 — (Neoclassic проза)

ISBN 978-5-17-161656-4

«Это безумие», получившее подзаголовок «Первый правдивый из когда-либо написанных романов о любви», Теодор Драйзер считал своим самым значимым и личным произведением. Как признавался сам автор, в его жизни романтические отношения всегда играли первостепенную роль. Они тонизировали его, будоражили мысль и укрепляли дух. Неудивительно, что любовная жизнь Драйзера была крайне насыщенной: он разошелся с женой, регулярно менял любовниц и изменял даже постоянной спутнице жизни. Именно воспоминания о нескольких наиболее ярких отношениях в жизни Драйзера легли в основу романа. «Это безумие» публиковалось по частям на страницах журнала «Херст интернешнл» с февраля по июль 1929 года. Писатель планировал включить в текст еще несколько очерков, но так никогда и не вернулся к этой теме. На русском языке роман публикуется впервые!

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-161656-4

© Драйзер Т., 2024

© Издательство АСТ, 2024

Теодор Драйзер

Это безумие

Theodore Dreiser
THIS MADNESS

© Перевод. А. Ливергант, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2024

От автора



Какую сторону жизни ни возьми: будь то коммерция, религия, политика, общественная жизнь, – не любовь ли лежит в ее основе?

В моей жизни, в чем я не раз себе признавался, любовные отношения всегда играли первостепенную роль. Более того, не было случая, чтобы я хотя бы раз усомнился в том, какое значение имеет любовь во всех ее проявлениях. И не только для меня, но и для любого человека. Я говорил себе: вот она, любовь, вот как она действует на нас с вами. Для одних это чувство постыдно, для других – прекрасно, но разве этот великий романтический порыв от этого менее поразителен, даже восхитителен? К чему отрицать любовь, к чему обманывать себя, пытаться ее игнорировать в наших социальных и религиозных раздумьях, в иллюзиях, которым мы в отношении ее предаемся?

Верно, иной раз мне начинало казаться, что любовь может помешать моему продвижению по жизни и даже загнать в тупик. Бывало, впрочем, и так, что у меня не вызывало сомнений: мои любовные порывы не только благотворны, но и совершенно необходимы, ведь они тонизируют, будоражат мысль и тем самым укрепляют дух. Когда любишь, ты либо прямодушен, либо, наоборот, неискренен, уклончив, замыкаешься в себе. И в стремлении к честности, к отказу от увиливания я обретал интеллектуальную отдушину, которая придавала мне сил и убеждала в том, что публичного порицания, даже самого беспощадного, бояться мне нечего.

Несмотря на все вызванные ею смятения и страдания, а также бурные восторги, любовь служила мне утешением в минуты уныния, давала возможность вступить с унынием в бой – и одержать победу. Из

сердечных мук, причитаний, гнева, презрения, а также поражений и побед, вырастала красота, иной раз исступленная красота. Чувство это было столь сильным, что, несмотря на все жизненные неурядицы, компромиссы, постыдные поступки, несмотря на упадок сил, несправедливость, неспособность противостоять злу, жизнь казалась не столь тяжелой и жалкой, как без любви – прекрасного, пусть временами и мрачного цветка.

Словно бы в доказательство всего вышесказанного и в качество неотъемлемой части моей очень напряженной, крайне невеселой и в то же время необычайно увлекательной, а также целеустремленной жизни предлагаю читателям эту книгу, три новеллы (три этюда, если угодно) о трех влюбленных женщинах: Аглае, Элизабет и Сидонии. Уверен, и интеллектуально, и эмоционально они будут со мной заодно, поймут меня, как никто.

Аглая



Все эти рассуждения не могут не сказываться на восприятии жизни, на настроении. Мое же настроение в то время было, прямо скажем, не самое лучшее. Шли годы, а я до сих пор не написал ни одной книги из некогда задуманных. Подстерегали меня и любовные неудачи.

Недовольный собой, я пребывал в скверном настроении и, словно бросая нескладывающейся жизни вызов, ушел в себя. Женщины! Да бог с ними! Обойдусь без них!

А между тем еще совсем недавно, в весенние и летние, такие погожие дни, у меня над головой проплывали лучезарные курчавые облака. Я и не обратил внимания, как, точно птицы, поющие в зелени распустившихся деревьев, незаметно пролетало это чудесное время. Ах, эти полуобморочные, сладострастные весенние и летние ночи, когда я бродил и говорил с той, что, набравшись духа, от меня скрылась! Сохраню ли я ее образ? Не сотрется ли он в моей памяти? Воспоминание о ее мечтательном взоре, гибкой, слегка раскачивающейся походке, ее улыбке расслабляли меня, принуждали к бездействию.

Но вот наступила осень, и с ней медленно, словно нехотя, пришла новая жизнь. Как же часто в те дни из-за отсутствия интереса к жизни жертвовал я работой ради вечеринок, пьянства, разгула, столь способствующих забвению. И вот однажды вечером, в конце ноября, в студии одного венгерского художника собрались гости; был среди них некий Савич Мартынов, русский по рождению, издатель, певец, поэт, litterateur, переводчик русских и немецких пьес на английский для британских и американских театров. И пьяница. А еще, как я вскоре

обнаружил, человек диковатый, резкий, неуравновешенный, при этом незаурядный и очень обаятельный.

Русский мечтатель, неудавшийся романист, этот пятидесятипятiletний Мартынов был женат и имел трех детей. В свое время он воевал на Кавказе, когда-то писал стихи, пел в опере, неплохо разбирался в литературе и теперь, человек угрюмый, себе на уме, стремился найти себя в этом ускользающем мире.

Да и внешне был Мартынов весьма примечателен: свирепые вздернутые усы, взлохмаченные волосы, – я был заинтригован его внешностью; заинтригован и околдован. Мы с ним увлеченно болтали о книгах и изобразительном искусстве. Еще совсем молодым, тридцатилетним, рассказал мне Мартынов, он – выиграло ретивое – порвал с Россией и отправился в западную Канаду создавать там новое искусство и прогрессивную общественную жизнь. Увы, он просчитался: подобным начинаниям редко сопутствует успех.

Тогда сей ошестинившийся юнец, обзаведясь в Саскатчеване женой и родив дочь, которую любил больше жизни, перебрался в Нью-Йорк, где вскоре заявил о себе в издательских и журналистских кругах и разбогател. Друзья у него были везде – в театрах, в опере, в картинных галереях.

Трудно сказать, что нас сблизило, однако спустя некоторое время мы стали закадычными друзьями. Он был вхож ко многим знаменитостям, которые были мне интересны. Не приду ли я к нему в гости? У него квартира на Риверсайд-драйв. Жена и старшая дочь увлекаются музыкой, искусством, театром и не выпускают книги из рук. Они будут рады со мной познакомиться, хотя ни они, ни он сам раньше никогда обо мне не слышали.

Мартынов мне нравился, и, простившись с ним на рассвете, я обнадежил его, сказав: «Обязательно», – а через минуту забыл, как его зовут.

А вот он про меня не забыл. Незадолго до Дня благодарения пришло от него приглашение на ужин. Я хандрил и прийти отказался. Перед Рождеством, однако, я был приглашен вновь. Они с женой и дочь прочли за это время «Сестру Керри». В сочельник у Мартыновых должен был состояться праздничный ужин, после чего гостей позвали поехать в православную церковь^[1].

Письмо с приглашением написала их старшая дочь, Аглая. В том, как это письмо написано, было что-то задорное, лихое, дружелюбное. Я ее приглашение принял и в семь часов вечера, в сочельник, присоединился к многочисленным гостям Мартыновых, его русским и американским родственникам и близким друзьям, подобно которым раньше не встречал никого. Многие говорили с акцентом, держались при этом с апломбом.

Давно не получал я приглашений на домашние праздники и, должен сказать, принят был на удивление тепло и радушно. У жены Мартынова, госпожи Жени Мартыновой, было смуглое изящное матовое лицо, высокий восковой лоб, спадавшие на плечи густые, гладкие, иссиня-черные волосы. Из-под подведенных бровей сверкали миндалевидные глаза, руки были тонкие и тоже восковые.

Аглая была выше матери и на нее совсем непохожа; отличалась она завидным изяществом форм и бросающимся в глаза достоинством, весь ее облик дышал американской свежестью и неумемной энергией, которые говорили сами за себя и в комплиментах не нуждались.

Глаза – огромные, карие, с поволокой; лоб низкий, волосы шелковистые, вьющиеся; рот, нос и подбородок своей образцовой симметрией радуют глаз; руки и ноги маленькие, красивые. И мать и дочь произвели на меня впечатление самое благоприятное.

Но ведь не они же одни были в гостиной. Сколько гостей! Самой разной внешности, самых разных профессий. За стол сели никак не меньше двадцати человек, а к десяти часам вечера число приглашенных удвоилось. Еще бы, гостеприимство Мартынова, радушие, забота били через край.

Кому только меня – не прошло и нескольких минут – не представили: и оперным дивам, и скрипачам, и пианисту, и нескольким юристам, и художнику, и книжному графику, и двум писателям. И, сколько помню, еще десятку приглашенных: военным, морякам, русским, и американским дипломатам. Светский экспромт, одним словом!

За ужином госпожа Женя засыпала меня вопросами, тогда как ее дочь лишь роняла отдельные реплики, устаивая меня быстрыми тревожными взглядами. Я исправно отвечал на вопросы матери, сам же думал о том, в самом ли деле ее дочь равнодушна к лощеному красавчику офицеру, сидевшему по ее правую руку.

Мартынов, со свойственной идеалистам непосредственностью, всячески меня опекал и расхваливал. «Если б вы написали такую книгу в России, с вами бы все носились, проходу бы вам не давали! Уж эти мне американцы!» И с этими словами он подкрутил кончиками пальцев свои огненно-рыжие пышные усы и устремил на меня сверкавшие из-под густых светлых бровей глаза. Говорил он не переставая, и перед моим мысленным взором возникали несущиеся галопом казаки, дипломаты и генералы, перепоясанные орденскими лентами.

– Послушай, Аглая, давай-ка, перед тем как идти в церковь, помузицируем! Бриллов, сначала спойте, а уж потом будете пить! Знаю я вас! Ну а вы, Фердыщенко, поиграйте нам после Бриллова и Аглаи!

– Савич! – воскликнула госпожа Мартынова. – И не стыдно тебе? Ишь, раскомандовался! Вы его еще не знаете, – добавила она, обращаясь ко мне.

Аглая послушно села за пианино и принялась листать ноты, а Бриллов вышел из-за стола, встал, выпятив грудь, рядом с Аглаей и громовым голосом исполнил арию из «Андре Шенье». Аглая подыгрывала ему с чувством и с каким-то особым изяществом.

Певцам нравилось, когда Аглая им аккомпанировала. Она знала, как надо играть, чтобы не заглушить голос поющего, не дозвлет над ним. Она ведь и сама пела и в искусстве вокала знала толк. Отцу, когда тот пел, аккомпанировала только она.

Я описываю все это так подробно, потому что испытывал в эти минуты откровенную зависть. Здесь так уютно, говорил я себе, после моей скромно обставленной съемной комнаты. Я с интересом наблюдаю за всей этой разношерстной компанией, люди эти мне симпатичны, но ведь меня бы здесь не было, не заинтересуйся мной всего один человек, хозяин дома к его комплиентам в мой адрес все эти гости, мужчины и женщины, вряд ли прислушаются. И то сказать: они знать меня не знают, не знают и не хотят знать. Неутешительно, прямо скажем.

Ни в какую церковь я с ними сегодня не поеду, решил я. Люди эти мне чужие, и я им чужой, один из многих.

Но мой хозяин, человек куда более наблюдательный, чем мне сначала показалось, и не думал меня отпускать. И госпожа Женя тоже. Мои слова, точнее говоря, мое дурное расположение духа были

восприняты негативно: «Почему вы уходите?» Хозяева дома не рассчитывали на мой уход: надеялись, что после ужина я поеду вместе со всеми в церковь, после церкви останусь ночевать, а утром приму участие в рождественском завтраке.

Я уступил: сейчас мне уже было не так одиноко, как вначале, да и нарушать компанию друзей-единомышленников не хотелось. После пения и перед уходом в церковь появились еще двое детей Мартыновых, дочь и сын, Джулия и Адер, оба моложе Аглаи. Джулия тут же бросилась к матери, прижалась к ней и выложила все, что произошло за день.

Хотя Аглая – она была в темной шубке и в шапочке, – пригревшись в автомобиле между мной и матерью, всю дорогу весело щебетала о том, что будет в церкви, я заметил, что в ее отношении ко мне чувствуется что-то личное, даже интимное.

В ответ на мои вполне формальные вопросы Аглая объяснила, как проходит православная служба. Женщины стоят по одну сторону от прохода, мужчины – по другую, а дети – отдельно, перед алтарем. Джулии и Адеру тоже придется выйти вперед. Сказала и засмеялась. А потом, сверкнув из-под меховой шапочки своими нежными карими глазами, обронила:

– Вашу книгу я прочла еще месяц назад.

– Да?

– Мне очень понравилась, только грустная она.

– А вы понимаете, что такое грусть?

– Вы еще спрашиваете! Конечно!.. – Она осеклась. – А впрочем, неважно.

Я догадался, о чем она думает. Она чувствовала, что и к ней, и к ее семье я отношусь настороженно. Ее любят, опекают, с ней носятся любящие мать и отец, она ни в чем не испытывает недостатка, у нее есть деньги, красивые модные туалеты, родители дали ей хорошее музыкальное образование. Так почему же тогда у нее такой несчастливый, затрапезный вид? Зачем было изображать, будто о бедности, грусти она знает не понаслышке? Вместе с тем я признавал: человек она глубоко чувствующий, умный – умнее родителей и их друзей. Несмотря на ее внешность, юные годы, в ней ощущалась какая-то зрелость, нечто сродни мне.

Свечи, ладан, иконы в позолоченных окладах, витражи на высоких, под потолок, окнах – все это, стоило мне войти в церковь, произвело очень сильное впечатление. Священники в ризах, прохаживаясь перед алтарем, нараспев читали молитву, из которой я не понимал ни единого слова. Интеллигентного вида, по последней моде одетые русские подхватывали слова священника; в том, как они молились, было что-то трогательное, глубоко прочувствованное. Особенно запомнились мне набожные прихожане попроще, которые то и дело крестились и низко, до пола кланялись.

Всеобщее помрачение ума, размышлял я. Подумать только! Просвещенный русский издатель, которому нравится моя книга, который почитает Толстого и Достоевского, древних греков – и при этом ходит из стадного чувства вместе с женой и детьми в церковь, распевает молебны и бьет поклоны.

Из церкви мы поехали обратно к Мартыновым, по дороге мне удалось еще раз обменяться с Аглаей несколькими словами, и подумалось, что в ней, при всей ее американской внешности, стиле поведения, больше русского или славянского, чем американского. Дочь своих родителей. Она была умна, умна и начитанна без буквоедства, и при этом по-европейски социально и интеллектуально раскрепощена, органична.

И хотя прекрасным полом я по-прежнему пренебрегал, Аглая начинала мне нравиться. Меня это, пожалуй, немного раздражало – решил же я держаться от женщин подальше. От всех, кроме одной.

А наутро, только я вышел к столу, как в легком утреннем платье в комнату вбежала она и радостно, от всего сердца пожелала мне счастливого Рождества. В ярком, резком утреннем свете в глаза бросалась довольно безвкусная славянская обстановка: прошитые золотом портьеры и тяжелые шторы, красный, в золоте шкаф с нотами, красный, покрытый лаком рояль.

Из высокого окна открывался великолепный вид на Гудзон, река была затянута льдом, из-под которого проступала вода, и, точно вытянутый опал, переливалась в лучах утреннего солнца. Позже всех присоединился к нам хозяин дома и, подкрутив свои великолепные усы окинул пронизательным взглядом сидевших за столом.

– Доброе утро! Доброе утро! – нараспев, весело произнес он.

И началась оживленная застольная беседа – о Рождестве, о семейных связях, о том, что о родственниках нельзя забывать.

Ну а после завтрака только и было разговоров, как бы получше провести рождественские каникулы. Договорились в ближайший понедельник отправиться в оперу. «Вы с нами пойдете? А на домашний концерт? Он состоится завтра у наших друзей». Я отказался. «Но на сегодняшний-то рождественский ужин вы останетесь?» – «Нет, и на ужин тоже не останусь».

От избытка панибратства, от той легкости, того удовольствия, с какими здесь делаются дела, я, признаться, подустал. Я что, в самом деле, живу с ними одной жизнью? Чтобы войти в их круг, нужны деньги, и немалые. Деньги и время.

Вскоре я объявил, причем, помнится, довольно бесцеремонно, о своем уходе:

– Извините, деловое свидание. Большое спасибо, обязательно приду снова.

И с этими словами, не обращая внимания на бурю протестов (похоже, совершенно искренних), я вышел из комнаты. В дверях я обернулся и заметил, что Аглая через плечо матери провожает меня любопытным, пытливым взглядом.

Я дошел по засыпанной снегом Риверсайд-драйв до 157-й улицы. Потом свернул на поднимающуюся в гору узкую дорожку. Смотрел на опустевшую реку и думал – нет, не об Аглае, а о той, что меня бросила: о Ленор (назовем ее так). Мне живо вспомнился настороженный взгляд, таившийся в глубине ее восхитительных глаз. Была в них какая-то тоска, боль, которые передались и мне.

Почему она меня бросила? Почему отказывалась понимать? А ведь я чувствовал: она хочет, очень хочет вернуться, – только бы я пошел ей навстречу. И все же она так и не вернулась. И никогда не вернется. Но это желание! Эта боль! Мартыновы со своими мещанскими удобствами и увеселениями! Как же хорошо, что я далек от всего этого!

Не прошло, однако, и недели, как от Мартыновых я получил еще одно приглашение, на этот раз от миссис Мартыновой. Я был зван на празднование Нового года. Меня ждут, писала Женя, те самые комнаты, которые я занимал на Рождество. Савич оставил их для меня,

а Джулия предложила вставить в дверь карточку с моим именем, чтобы до моего возвращения никто в комнату не входил.

Я обратил внимание, что в этом приглашении Аглая не упомянута, но на первой странице письма, в углу кто-то карандашом написал слово «да». Я задумался, кто бы это мог быть и что бы это значило, однако на приглашение госпожи Жени тоже ответил отказом, а про себя подумал: как же чудесно устроен мир, из которого я сам, по собственной прихоти, себя исключил.

В то время я снимал очень неважную комнату с ванной на 114-й улице, к западу от Восьмой авеню. Комнату эту я выбрал, чтобы быть поблизости от парка Морнингсайд. Здесь-то и бывал у меня иногда Савич Мартынов. Находилась комната на четвертом этаже, без лифта, и выходила на мрачный, наводящий тоску, типичный для нью-йоркских жилых кварталов дворик из тех, где за забором на веревке развешано белье и к небу тянутся обделенные светом чахлые деревца.

И вот как-то раз, в конце февраля, является ко мне Савич с предложением, которое удивило и смутило меня. В его доме, сказал он, есть две комнаты, кабинет и спальня с альковом, ванная – эти комнаты я занимал в прошлый сочельник. Раньше там жила его сестра, но она уехала обратно в Россию. Его семья и он сам, как я наверняка заметил, очень ко мне привязались. Нет, он не богат, но вполне состоятелен. Его предложение может мне показаться странным, но, право же, объясняется оно не только общими взглядами и интересами, но и самой искренней симпатией. Не могу ли я оказать ему дружескую услугу и, воспользовавшись представившейся возможностью, занять эти комнаты и жить в них столько времени, сколько мне заблагорассудится? Если бы я согласился, он был бы рад от души. Все удобства в полном моем распоряжении.

Из этих комнат – я еще тогда заметил – открывался великолепный вид на реку. Какое удовольствие было бы сидеть у окна и писать! И садиться за стол с членами семьи. К тому же в доме постоянно бывают интересные люди, поговорить с ними было бы любопытно. Мартынов и сам когда-то пытался написать роман; уж он-то знает: искусство требует жертв.

Мы заспорили, я твердил одно и то же: нет, нет и нет, это невозможно, ни под каким видом не приму я это предложение, ведь с

его стороны это ж чистая благотворительность. Я всегда за все платил; платил – и буду платить.

В то же самое время я не мог не думать о том, как же хороши эти комнаты: обставлены со вкусом, из окна великолепный вид на Гудзон – романтика! Двери выходят в холл, так что можно будет приходить и уходить когда вздумается. Ко всему прочему, там, совсем рядом со мной, под одной крышей будут Аглая и госпожа Мартынова, и я смогу, если захочу, встретиться с ними в любую минуту. И не только с ними – этот гостеприимный дом с утра до вечера полон блестящих, удивительных людей.

И тем не менее из чувства противоречия и самолюбия я ответил Мартынову отказом. Нет, так дело не пойдет. Вот если бы он позволил мне снимать эти комнаты за деньги, но и тогда... Кончилось тем, что Савич, как видно, раздосадованный моим отказом, воскликнул:

– Что ж, платите, раз вы так настаиваете, цену можете назначить сами. Сколько будет стоить аренда – мне совершенно безразлично; главное, чтобы вы согласились. Прошу вас, не чинитесь, я сдаю, вы снимаете – к обоюдному удовольствию.

И он бросил на меня взгляд, в котором одновременно читались укоризна и живейшая симпатия. Поскольку он так настаивал, да и спорить было уже не о чем, я сказал:

– Хорошо, только никому ни слова, – после чего сообщил ему, что за комнату на 114-й улице я плачу сорок долларов. – Этой суммы будет достаточно?

Он рассмеялся:

– Сорок долларов или сорок центов – какая разница! Вы же сами на этом настаиваете. Комнаты – ваши, снимайте их за любую цену или не платите вовсе ничего. Завтра же пришлю машину за вашими вещами.

Вот как вышло, что у Мартыновых я прожил больше года. И за это время с ними, можно сказать, сроднился. Несмотря на свое недавнее противодействие, вызванное скорее всего пустыми и несбывшимися мечтами, я прожил со своими хозяевами всю зиму душа в душу. Сблизился с ними и интеллектуально, и эмоционально.

Обаяние госпожи Мартыновой было столь велико, что, хотя ей исполнилось сорок пять, да и к мужу она была очень привязана, чувства, которые я к ней испытывал, платоническими никак не

назовешь. Сколько раз она сидела рядом и изучала меня с загадочной улыбкой. Улыбка эта, прямо скажем, наводила на размышления.

Что же до Аглаи, то у меня во всех подробностях запечатлелись первые наши с ней разговоры. Вместе с тем я отдавал себе отчет, что никогда не испытаю к ней сильного чувства, не полюблю ее, даже если она всерьез мною увлечется. Что, впрочем, не мешало нам сблизиться, с удовольствием проводить вместе время.

Посмотришь, бывало, на ее низкий лоб и карие с серо-зелеными искорками глаза и подумаешь: какие же у тебя огромные и красивые глаза, какой открытый взгляд! Сколько в них мудрости, человечности! Из тебя выйдет идеальная жена. Интересно, ты чего-то добьешься в жизни? А если добьешься, кем станешь?

И вот однажды, под вечер, прихожу я домой после долгой прогулки, уставший, настроение – хуже некуда. Писать книгу – занятие долгое и муторное, не хватает куража, поддержки. А за письменным столом поддержка нужна, как нигде, мне ее никогда не хватает. Тяжкое бремя я несу, думал я. Имеет хоть какое-то значение то, что я пишу? Меня будут читать? Или все, что я написал, лишено всякого смысла?

Мрачные, горькие мысли преследовали меня, словно буравя своим злобным хитрым взглядом. Взгрустнулось. Но ведь в этом доме, в сумерках поет и играет на пианино эта девушка, Аглая. Она услышала, как я иду по коридору, и, не говоря ни слова, продолжала играть, глядя на меня через плечо.

Я замирал, когда она вот так, молча, смотрела через плечо и с каким-то благоговением воспринимала то настроение, которое сама же создавала. Это чувствовалось.

В этот же раз своим взглядом она словно подзывала меня к себе. Я скинул пальто, опустился на стул у окна, а она продолжала играть.

И вдруг, не закончив легкую, воздушную импровизацию, спросила:

– Тоскуете?

– Кто? Я? О нет! С чего вы взяли? У меня что, тоскливый вид?

– Еще какой.

– Правда?

– Да.

Я ничего не ответил, и она, помолчав, добавила:

– Кто-то, должно быть, вас обидел. Или у вас несчастная любовь?

Я не ответил. Признаться, я не только был смущен, но даже немного сердит. Ведь всего два дня назад я прочел в газете, что Ленор с матерью уехала в Европу. Я тогда вдруг ужасно расстроился и, подсев к столу, взял лист бумаги и набросал несколько слов выразить свое тогдашнее настроение. А потом по забывчивости оставил исписанный лист бумаги на столе. Сейчас я о нем вспомнил. Вот что я тогда записал:

Любовь
С пустыми руками
Сидит
И мечтает.
Любовь,
Что способна своими песнями причинить боль,
Смех.
Счастливые голоса.
Любовь,
Что воздевает пустые руки
И клянет свою участь,
А между тем
Вдали
Танцуют,
Целуются,
Смеются.
По всему свету
Ходят кругами.
Как в сарабанде.
Любовь.
Что увлажняет глаза
И разбивает сердца.

Так вот, я совсем забыл об этой бумажке и оставил ее на столе. И хотя в тот же вечер, вернувшись, обнаружил ее на том же месте, у меня возникло подозрение, что эти стихи кто-то читал, – подозрение, ни на чем не основанное, неизвестно откуда взявшееся. Как бы то ни было, сказанное ею могло быть не случайно. Но почему она ходила ко мне в комнату и читала мои бумаги? С какой стати? Я решил было укорить ее, но передумал и решил выйти из комнаты.

– Вы останетесь ужинать? – спросила она.

– Нет, – отрезал я.

Но в следующий раз, и тоже вечером, совсем в другом настроении я вновь заглянул к ней в музыкальную комнату. Мы много о чем говорили, и в конце нашей беседы, очень дружеской, она вдруг сказала:

– В тот вечер вы были мной недовольны.

– Я? Недоволен? Ничуть, – солгал я. – С чего бы мне на вас сердиться?

– Сама не знаю. Может, это потому, что я предположила, будто вы несчастны в любви? Простите, если вас обидела. Я не нарочно.

– Я? Несчастен в любви? Какая чушь! Уж и не вспомню, когда был влюблен в последний раз. И вряд ли влюблюсь опять. Но почему вас это так заботит? Что за навязчивая идея?

А сам в эту минуту подумал: спрошу-ка, не читала ли она у меня в комнате мои бумаги. Посмотрим, что она на это скажет.

– Что вы, никакой навязчивой идеи, – сказала она. – Просто иной раз вы бываете очень печальны – печальнее самой печальной музыки на свете.

– За собой я никогда этого не замечал, но если это и так, что с того? – холодно отозвался я.

– Да нет, ничего, я вовсе не хочу вмешиваться в ваши дела. Простите меня.

– Вмешивайтесь сколько угодно, раз вам так хочется, меня это нисколько не смущает. Но скажите, разве грустят только из-за несчастной любви?

– Нет, конечно, нет. Я вовсе не имела это в виду, просто грусть, печаль всегда ассоциируются у меня с каким-то разочарованием, неудачей. Вот я и подумала, что и у вас что-то в этом роде.

Я рассмеялся и заговорил о ее прошлом. Была ли она когда-нибудь влюблена?

– Разумеется, и не один раз.

– Стало быть, вы рано начали.

– Да, но все это было не всерьез. По-настоящему я влюбилась всего один раз.

– Всего один раз?

– Да. Именно так. Мне не до шуток – даже сейчас. – Она замолчала и задумалась о чем-то своем.

– Он еще жив? – поинтересовался я.

– Нет, умер. Пять лет назад.

– И вы его по-прежнему любите?

– Да, конечно. Конечно, люблю. И всегда буду любить.

(Не тот ли это лейтенант, которого я встречал однажды на рождественской вечеринке, подумал я.)

– И с тех пор вы ни разу не были всерьез влюблены?

– Всерьез – нет, – чистосердечно призналась она.

– Надо полагать, он был достоин вашей любви, – сказал я, нисколько не покривив душой.

– Да, – сказала она, после чего, в ответ на мои дальнейшие расспросы, вкратце его описала. Сын богатого предпринимателя из Иллинойса. Интересовался литературой, музыкой, изучал инженерное дело в Колумбийском университете. Умер совершенно неожиданно, от травмы, полученной в футбольном матче.

Было это пять лет назад, но ее родители до сих пор даже не подозревали, как она была влюблена. Она им ничего не говорила: не хотела, чтобы мать с отцом ее жалели. Я выразил ей свои соболезнования и сказал, что время лечит.

– Да, знаю, – ответила она. – Это верно. Со временем действительно понемногу приходишь в себя, хотя и не совсем. Немного лучше мне стало только недавно.

(Лейтенант, решил я).

В эту минуту в комнату вошли ее родители, а следом за ними и Адер. Однако через пару дней нам все-таки удалось поговорить наедине еще раз. Днем пошел сильный снег, и к одиннадцати вечера Риверсайд-драйв был завален снегом по колесо. В тот вечер Аглая почему-то нервничала, вид у нее был тревожный, задумчивый. Когда очередные гости ушли, она долго смотрела в окно, а потом воскликнула:

– Какой чудесный вечер! Как насчет прогулки? Кто-нибудь составит мне компанию?

И она сначала взглянула на Адера: он сидел за столом, вытянув ноги, – потом на меня: я держал в руке книгу и делал вид, что читаю, – и, наконец, перевела взгляд на отца: Савич читал не отрываясь. Когда

она посмотрела на меня, мне показалось, что в ее взгляде было что-то особенное – трудно сказать что именно.

– Ты что, хочешь, чтобы тебя в реку сдуло? – заметил Мартынов.

– Откуда вдруг такая отвага? – поинтересовалась в свою очередь миссис Мартынова.

– Ну нет, такая погода не для меня, – вступил в разговор Адер. – От одного вида такого снегопада поджилки трясутся. Нет, уж лучше дома сидеть!

Решимость Аглаи передалась и мне.

– Что ж, пойдемте, только надену теплое пальто и шапку, – сказал я.

– А я надену свитер и сапоги! – воскликнула Аглая и выбежала из комнаты.

Видно было, что и Мартынов и Женя сочли такое поведение нелепым, однако не сказали ни слова. Когда мы – сначала я, потом, спустя минуту, Аглая – вернулись в гостиную, Савич стоял у окна и смотрел на улицу.

– Безумцы! – добродушно заявил он. – Оглянуться не успеете, как превратитесь в снеговиков.

– Пожалуйста, не ходите далеко. Право же, это опрометчиво, – добавила миссис Мартынова.

Она посмотрела на меня, и в ее напряженном голосе мне почудилось что-то вроде упрека. А может, она нам позавидовала?

Когда мы вышли из дома, мне почему-то стало вдруг очень весело и в то же время как-то не по себе. Ведь Аглая была в эти минуту такой резвой и оживленной, такой молодой, не чета мне. Что может из всего этого получиться? Абсурд, и ничего больше. Нелепо и немного странно.

Да, странно, я же был еще женат, и Мартынов, Женя, да и Аглая, об этом знали, надо полагать. Как-то мы заговорили за столом о проблемах брака, и хорошо помню, как я сказал, что брак не для меня. Я в мужья не гожусь – темперамент не тот. Писателям нельзя жениться. Всякая, кто в меня влюбится и захочет связать со мной свою жизнь, об этом пожалеет. Аглая тогда улыбнулась, и я заметил, что она меня внимательно изучает и что взгляд у нее какой-то сосредоточенный.

И тем не менее, несмотря на все мои замечания в этой связи, я вдруг ощутил, что заморожен ее физической и умственной энергией, оптимизмом и обаянием. А что, если она и в самом деле увлечется мной, мужчиной старше ее на восемнадцать лет? Да ты романтик, сказал я сам себе.

В своей меховой шапочке, из-под которой выбивалась непослушная каштановая прядь, в высоких кожаных сапогах, сунув руки в карманы, она стремглав бежала впереди сквозь пургу и пинала ногами снежные заносы. Я с трудом за ней поспевал.

– Ветер такой силы, что на нем лежать можно! – воскликнула она. – Смотрите! Он меня держит! – И она подалась вперед навстречу ураганному ветру. – Видите, свет в окнах там наверху? Похожи на тусклую медь, правда?

– Да, под снегом действительно похожи.

– И огни на реке. Что это? Их и не разглядишь. Они то меркнут, то вновь загораются...

То были паромы, что курсировали с одного берега на другой. Она остановилась и стала смотреть на реку. Я взглянул на нее в ожидании – что она еще скажет? Под снегом, в призрачном свете фонарей, было в ее облике что-то утонченное. Трогательное. Очаровательна, как никогда.

Что это со мной? Откуда такие мысли? Как неразумно! Даже опасно. Очень маловероятно, чтобы и она пребывала в таком же настроении. Ведь она еще очень молода, по-прежнему любит другого. Быть может, она и влюбилась в меня, немножко, самую малость, влюбилась сдуру, не задумываясь о последствиях. И с моей стороны достаточно всего одного неосторожного слова, или жеста, или взгляда – и моей дружбы с этой семьей как не бывало. Лучше ничего не говорить – улыбаться и предаваться легкому флирту. А между тем соблазнительные мысли уже готовы были сорваться с моих губ.

Неподалеку, напротив могилы Гранта^[2], находилась гранитная беседка, на каменном полу которой, за парашютом высотой почти в человеческий рост, не было ни снежинки. Туда мы и зашли всего на несколько минут переждать, когда кончится снегопад. Меня преследовали те же мысли. От Аглаи так и веяло страстью, любовными мечтаниями. И тут, не сказав мне ни слова, она ни с того

ни с сего начала танцевать, а следом за ней, повторяя ее движения, и я тоже.

Мне повезло, я держал ее за руки, заглядывал ей в глаза. Какое изящество, какая легкость в движениях! В эти мгновения я забыл про Ленор и вдруг почувствовал, что теряю рассудок, что меня влечет какая-то неведомая, неодолимая сила. Как же она красива! Какое у нее прелестное, изящное тело и глубокий, изощренный ум.

Не заводить же, однако, любовную интрижку в такой ситуации! Я остановился, чтобы немного прийти в себя, и она, как видно что-то почувствовав, заколебалась, продолжать ли танцевать.

– Да, я знаю, уже поздно, – сухо сказала она. – Мы нелепо себя ведем, правда?

И она побежала к дому, а я, с угрюмым видом, – за ней следом.

Не успели мы войти, как все четверо – Савич, Женя, Адер, Джулия – засыпали нас вопросами. Много выпало снега? Далеко ли мы ходили? Аглая все подробно рассказала, кроме танцев в беседке, и пошла переодеться. Я рассказал про снегопад, про ветер и в какой-то странной задумчивости отправился спать.

Следующие несколько дней мы с Аглаей старались держаться на расстоянии, но потом все встало на свои места – нас вновь связывали теплые, дружеские чувства, ничего больше.

А потом, совсем скоро, мы все ощутили приближение весны, Мартыновы подумывали выехать на лето за город. Май был уже близок, распахнулись окна, из серой река сделалась сине-серебряной, какой бывает только во сне, зазеленели деревья.

Лето Мартыновы проводили в Грейт-Неке, на северной оконечности Лонг-Айленда. Дом этот они сняли давно – и на много лет. Располагался он футях в пятистах от бухты и бассейна, в лесу, где имелись чудесные дорожки для верховой езды.

Зимой и летом вода в бухте, где собралась целая флотилия парусников и лодок, доходила буквально до самого участка. Красивые места. И вот Мартынов и Женя заговорили о том, как было бы хорошо, если бы и я поехал с ними в Грейт-Нек. Мы же сроднились, говорили они; раз дружим зимой, значит, должны дружить и летом, ведь я стал членом их семьи. Взять меня с собой они задумали уже давно.

Их планы вызвали у меня сомнения, и, в конце концов, я решил не ехать. Я старался убедить себя, что не настолько привязался к

Мартыновым, чтобы проводить вместе и лето тоже. Женя, Аглая... куда все это меня заведет? Но как быть с Мартыновым? Ведь он так ко мне привязался, что нехорошо было брезговать его обществом. На это я пойти не мог. Остаться у них на лето в городской квартире? Да, за городом летом куда приятнее, спору нет, но и жить на Риверсайд-драйв тоже ведь неплохо. Два раза в неделю будет приходить уборщица. Время от времени кто-то из Мартыновых будет ночевать в городе (я не смог сдержать улыбки). Ну а на выходные я мог бы приезжать к ним на Лонг-Айленд. Если будет желание...

И я решил остаться в их нью-йоркской квартире в полном одиночестве. Наша последняя встреча с Аглаей состоялась накануне их отъезда. В тот день она вернулась во второй половине дня: утром бегала по магазинам и обедала в городе. Прислугу рассчитали, и обед мне подавала единственная оставшаяся в доме служанка.

Я сидел у себя в комнате, писал и думал о том, что надолго остаюсь здесь один. И тут до меня донеслись звуки фортепиано. Хотя музыка была мечтательной и, как обычно, притягивала меня к себе, из комнаты я не выходил. На какое-то время музыка стихла и наступила напряженная, даже, пожалуй, мучительная тишина.

Что она делает? Задумалась? Она зайдет? Или позвонит? Или придет проститься? И тут мне показалось, что я слышу приближающиеся шаги. Кто-то остановился у моей двери, но – не постучал. И опять тишина. Что бы это значило? И, спустя какое-то время, стук в дверь.

Это была Аглая, в руках она держала мои запонки, которые недавно я отдал в починку. Я обратил внимание на ее лицо: бледное, почти белое, – голос слабый, с хрипотцой. Куда только девались ее выдержка, умение владеть собой? Я, стало быть, не приеду в Грейт-Нек на выходные? Жаль. Я лишаю себя многих удовольствий. Но ведь через неделю я приеду, правда? Или через две?

– Входите, входите, – сказал я, чувствуя, что ей хочется войти. – Какой сегодня прекрасный день, правда? Пищу с самого утра. А завтра остаюсь один – некому будет мне поиграть.

– Будет кому, если соберетесь приехать в Грейт-Нек, – отозвалась она, подошла к окну и, стоя ко мне спиной, выглянула на улицу.

Она была в бело-синем домашнем платье с оборками и с очень короткими рукавами. Совершенно обворожительна, на лице ни

кровинки, и от этого выражение лица еще более одухотворенное.

– За городом вам будет хорошо, уверяю вас, – сказал я, но она не ответила и даже ко мне не повернулась. Что-то за окном, как видно, привлекло ее внимание, и я еще раз повторил сказанное.

– Да, очень на это надеюсь.

– Гольф, теннис, верховая езда, плавание. – Я несколько не иронизировал, об этом разнообразном досуге говорил как о каких-то мелочах, которые безразличны такому серьезному человеку, как я.

– Всем этим вы тоже могли бы заниматься, если б захотели.

– Вне всяких сомнений – надо же чем-то развлечь гостя, – ответил я не без издевки.

– Разумеется. – Она повернулась и внимательно на меня посмотрела. – Почему бы и нет? Чем вы хуже других гостей?

– Да, конечно, – ответил я и с кривой усмешкой добавил: – Но ведь (имя лейтенанта не сохранилось у меня в памяти) и он тоже будет там.

Мои слова Аглая восприняла с вызовом, с нескрываемым раздражением, однако смогла взять себя в руки, и мне показалось, что захотела уйти. Но нет, не ушла, стоит как вкопанная и смотрит на меня. А я – на нее. И тут мне почему-то захотелось назвать ее по имени, произнести: «Аглая», – еле слышно, нежно.

Мне вдруг стало жаль ее и себя: в эти чудесные весенние дни нам обоим было так непривычно и так одиноко. Мне нужна была она, а я был нужен ей.

А что, если она меня и вправду любит? Какая же она бледная, как погружена в себя, смотрит на меня как-то неуверенно. Я сделал шаг ей навстречу, но она отступила и, не спуская с меня глаз, прислонилась к стене.

И тут только мне стало понятно, что с ней происходит. Она и хотела, и не хотела мне отдаться. Спроси я ее, и она бы во всем мне призналась, это было написано у нее на лице. Наверно, поэтому я внезапно ощутил себя очень сильным, бодрым, веселым, готовым смеяться от радости и в то же время грустным.

Сейчас она казалась мне такой молодой, такой красивой – и такой беспомощной. В эти мгновения она была похожа на попавшую в силки птицу: взгляд растерянный, в глазах готовность уступить, сдаться. И тут мне вновь захотелось произнести ее имя, и я сделал это:

– Аглая!

Она окинула меня беспомощным взглядом, а я, словно чувствуя, что победа за мной, обнял ее. Она же, вместо того чтобы оказать мне сопротивление, завела руку себе за спину и стала гладить мои обнимавшие ее пальцы. Мало того: она дала мне ее поцеловать и сама стала осыпать меня долгими, хищными, лихорадочными поцелуями. Мы обменялись всего несколькими словами – нежными, ласковыми.

– Скажи, Аглая, – проговорил я через некоторое время, – скажи только одно. Ты понимаешь, что делаешь?

– Да.

– Ты отдаешь себе отчет, что подумали бы твои родители, если б узнали. Ты что, в самом деле так меня любишь?

– Да.

– Как тебе кажется, я люблю тебя так, как тебе бы хотелось?

– Нет! Нет! Я знаю, что это не так. Ты на такое не способен.

– Уверена?

– Ах, я же знаю, какой ты. Я все знаю. Правда.

– Знаешь про меня?

– Да.

– И мне не обязательно в чем-то тебе признаваться?

– Нет.

– А как же тогда?.. – И я назвал имя лейтенанта – помнится, его звали Пендейл.

– Да, я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать.

– Ты уверена?

– Да.

– Но ведь ты его любишь?

– Любила. Мне казалось, что любила. Но больше не люблю. Да, он мне нравится. Но теперь я не испытываю ничего, кроме сожаления.

И вновь последовали объятия и поцелуи. Что бы подумали отец с матерью и все остальные, если б знали, шептала она. И в первую очередь – отец. Отец – особая статья. Нет, он бы понял, он же такой мудрый, такой благородный. Что же касается матери – да, она совсем другое дело, с ней непросто, но если возникнет необходимость, она, Аглая, знает, как с ней себя вести.

– Никто не вправе нас судить, как бы глупо, нелепо мы себя ни повели, – сказала она.

Из того, что она говорила, как держалась, я заключил, что она давно, не первый день, об этом думает. Что боролась с собой задолго до нашей сегодняшней встречи.

– Ты ведь любишь свою мать, правда? – спросил я.

– Конечно, люблю. А как к ней относишься ты?

– Она мне нравится, – признал я и подумал, что «нравится» можно понимать по-разному.

– Нравится так же, как я?

– Нет, конечно.

В эту минуту я подумал, что покривил душой, и, очень может быть, так оно и было. А впрочем, я до сих пор в этом не до конца уверен.

Она улыбнулась – недоверчиво, но нежно.

– Она ведь красивая? – вырвалось у нее.

– По-моему, одна из самых красивых и умных женщин, которых я встречал.

– Я знаю, тебе она нравится, – сказала Аглая довольно резко. – Знаю, можешь ничего не говорить. Она тебе нравится больше, чем я.

– Аглая!

– Да, больше, чем я. И не говори, что это не так, мне лучше знать. И всем, не только тебе одному, она нравится больше, чем я. И тебе тоже, я точно знаю.

– Но это не так, клянусь!

– Да, нравится. Но ты ведь ее не любишь. Знаю, что не любишь, – продолжала она таким тоном, что я замолчал. В ее словах было что-то предостерегающее.

– Откуда ты знаешь? – Я засмеялся.

– Потому что ты любишь другую. И не говори, что это не так, мне и это тоже известно.

– Аглая, – с укором сказал я, вспомнив про стихи у меня на письменном столе.

Стало быть, она их прочла. Нехорошо с ее стороны! Но тут я поймал на себе ее простодушный взгляд и на какую-то долю секунды усомнился в своей правоте. И все же даже сейчас я был задет... Впрочем, я не злопамятен. Зачем она это сделала? Как же это на нее непохоже! И, чтобы докопаться до истины, спросил:

– Известно? Откуда?

– Из стихотворения, которое ты оставил у себя на столе.

– Ты прочла его?

– Да.

– Так я и думал, – ворчливо сказал я. – И тебе не стыдно, Аглая? Как ты могла?

– Нет, не стыдно. Понимаю, как неприглядно это выглядит со стороны, но я ничего не могла с собой поделать. Я вошла к тебе в комнату поставить на стол цветы и увидела это стихотворение. Я *не могла* его не прочесть. И все-таки не думаю, что она гораздо красивее любой другой. Я в этом убеждена.

– Аглая!

– Мне все равно! А все потому, что она тебе не досталась, только и всего, это видно из стихотворения.

– Аглая!

– Прости, милый! Говорю же, ничего не могла с собой поделать. Не в силах тебе передать, как я настрадалась в тот день, когда это стихотворение обнаружила. Тебе этого не понять. – И она прижалась лицом к моему пиджаку.

– Ах ты, маленькая плутовка! – пожурил я ее, оторвав от себя ее бледное напряженное лицо, чтобы поцеловать. – Но скажи, почему ты решила, что это не просто стихотворение?

– Почему решила? Да потому, что это стихотворение говорит само за себя. Кроме того, думаешь, я не видела, как ты себя вел – вздыхал, и все такое? И я сразу поняла, что речь идет о ком-то, от кого ты без ума.

– Мошенница! – Я засмеялся и обнял ее.

– Как же мне хочется на нее посмотреть! – продолжила она. – Я знаю, она ничуть не красивее любой другой. Точно знаю.

– Аглая, Аглая!

Я рассмеялся. Она же нисколько не переменилась – по-прежнему стояла, понутив взгляд, пока я не поднял ей голову и ее не поцеловал. С минуту мы пристально, не отрываясь, смотрели друг на друга. И только потом – оттого, возможно, что я улыбался, – она расслабилась и вновь прижалась щекой к моему пиджаку.

А я все думал, чем же кончится наше с ней любовное приключение. Что оно нам сулит? Впереди лето... А что, если вернется Ленор? Что тогда?

Аглая хотела, чтобы я приезжал к ней на выходные, – первый раз, если я не против, в ближайшую субботу. Будем плавать на лодке,

мечтала она, купаться, кататься на машине. И главное, у нас появится теперь возможность видаться не на людях, незаметно. Как же мы будем счастливы! Все лето!

Все, что мы с ней в тот день задумали, состоялось. Более прекрасного лета и ранней осени не припомню. Выходные в Стоуни-Коув, как называлось это место. Большой сельский дом окнами на запад, перед домом просторная, не меньше десяти акров, ухоженная лужайка, буквально в двух шагах сверкающая в летних солнечных лучах бухта Саунд. А на восток и на запад протянулись извилистые дороги Лонг-Айленда, по которым мы ездили завтракать, обедать и ужинать в Манхассет, на Шелтер-Айленд, Файер-Айленд, Лонг-Бич, озеро Ронконкома, куда совсем недавно Вандербильты^[3] провели скоростное шоссе.

И хотя еще совсем недавно у меня и в мыслях не было, что я так близко сойду с Аглаей, теперь я был потрясен ее ярким, живым умом, покладистостью, а также обаянием и умением выстраивать наши отношения.

Не будем забывать: мы постоянно были на глазах у Мартыновых и их многочисленных друзей, – и я мог только позавидовать Аглае, которая, в ее-то юные годы, ни разу не растерялась, не выдала своих чувств. Она следила, чтобы наши отношения не бросались в глаза, чтобы в наших встречах, жестах, словах не было ничего предосудительного. Как она мне однажды сказала, один неосторожный взгляд, даже слово – и ее мать обо всем догадается и сделает все, чтобы нас разлучить. На этот счет у Аглаи не было никаких иллюзий.

Еще хуже было то, что, по словам Аглаи, Мартынов и его жена поставили себе цель выдать старшую дочь за лейтенанта, человека богатого и состоявшегося.

К тому времени как я появился в их доме, объяснила мне Аглая, их с лейтенантом отношения достигли той степени близости, когда помолвка, пусть и не объявленная, ожидается со дня на день. Однако с моим появлением она всерьез задумалась о необходимости такого шага, хотя и признавала, что поступает нехорошо.

– Ты никогда не поймешь, что я тогда пережила, – как-то раз призналась она мне, – когда по вечерам, только ты к нам переехал, ты отправлялся на свои одинокие прогулки. Ведь я видела, что ты несчастен и угнетен, и с ума сходила, поджидая твоего возвращения.

Ни разу не ложилась я спать, пока ты не приходил домой, хотя какое мне, казалось бы, дело? И когда я играла или пела и ты выходил из своей комнаты, я не отдавала себе отчет в том, что играю и пою для тебя. Теперь-то мне все ясно. В тот вечер, когда мы гуляли под снегом по Риверсайд-драйв, я пыталась заставить тебя мне что-нибудь сказать и при этом понимала, что делать этого нельзя. И когда я от тебя убегала, на самом-то деле мне хотелось повернуться и бежать обратно, не от тебя, а к тебе.

Об истории ее увлечения глаза говорили больше, чем голос и слова. Раздражение, а порой и ревность, вызванные моим положением в ее доме, моими отношениями с родителями, их друзьями, с ней самой, казались мне чем-то совершенно фантастическим, потусторонним.

Хотя я прекрасно знал, как сильно она меня любит, видел, с какой страстью, с каким самопожертвованием она ко мне относится, – лейтенант ведь никуда не делся, и не он один; ее окружал целый выводок молодых, жизнелюбивых, общительных парней и девушек – круг, в котором мне из-за моего возраста места не было.

На беду, эти крикливые юнцы – вот что значит молодость! – куда лучше меня плавали, ныряли, танцевали, ходили под парусом, водили машину. Мне было за ними не угнаться.

И с ними – благодаря своему возрасту и опыту – Аглая сумела себя поставить. Она была неременной участницей всевозможных увеселений, вечеринок на пляже или в ресторанах, прогулок верхом, в которых я не мог участвовать и которые она иной раз пропускала, чтобы быть со мной. Не передать муки ревности, которые я испытывал, когда она была вынуждена принимать приглашение и возвращаться в кругу своих сверстников. Не описать, как я страдал, когда видел, как она танцует или вместе со всеми стремглав бежит на пляж, или, напроочь забыв о моем существовании, со страстью играет в теннис или в гольф, или принимает гостей.

Что ж, годы брали свое. Молодость уходила. Каково было мне лицезреть всех этих молодых людей, с которыми Аглая жила душа в душу, а я не имел ничего общего. Жизнь складывалась так, что ей приходилось играть, смеяться и шутить, плавать и танцевать – и не только с лейтенантом. Мне же оставалось лишь признавать, что без этого нельзя, что это в порядке вещей.

Иногда я сходил с ума от ревности от того, чему становился свидетелем, точно так же, как ревновала меня, сходила с ума и она, стоило мне уделить внимание любой другой девушке или ее матери, ее собственной – в первую очередь.

Возможно, из-за всего этого (скорее даже вопреки всему этому) меня все больше и больше поражал – и поражает до сих пор – ее темперамент, такой чувственный и в то же время артистичный. Какими бы глубокими, мрачными, веселыми или романтическими ни были мои размышления – она не только их угадывала, проникала в их суть, но и пропускала сквозь себя, свои чувства и настроения.

Как же нам было с ней хорошо! Каких только чудных мгновений мы с ней в те дни не испытывали! Помню июльскую ночь: сквозь густой туман пробивается призрачный лунный свет, все в доме давно спят, а над бухтой, предупреждая о смертельной опасности, всю ночь несется траурный зов туманного горна сродни жуткому, безумному человеческому крику. И, бывает, на зов горна отзывается какое-то судно, что бороздит бескрайние воды Саунда, и этот протяжный, печальный пароходный гудок придает бодрствующему в ночи чувство еще большей безысходности. Из-за всего этого, а также из-за моих собственных, неизменно горьких мыслей, я испытывал тревогу и печаль, чувство обреченности, неуверенности и вероломства, неразрывно связанных с нашей жизнью. Почему мы здесь? Куда мы идем? Как прекрасна и недостижима тайна жизни: ненасытные аппетиты людей, их любовь и ненависть.

В три часа ночи тревожное чувство подняло меня с постели. Я встал, какое-то время вглядывался в непроницаемый туман за окном, а потом, накинув халат, вышел на лужайку, ступая босыми ногами по прохладной росистой траве.

Пройдя по усыпанной галькой дорожке до бассейна, находившегося неподалеку от дома, я сел на каменную скамейку и предался мечтаниям. Над бассейном, над скамейкой навис серебристый туман, дом находился всего-то в сотне футах от бассейна, но его очертания тонули в тумане.

И вдруг из мглы выступила Аглая: шла ко мне по дорожке. Я и сейчас вижу ее белую тень, на распушенные волосы накинута шелковый платок. У меня холодок пробежал по спине – так неожиданно она передо мной возникла. Я подался вперед и протянул к ней руку.

– Любимая, ты чего-то испугалась? В таких легких тапочках? Ты слышала горн?

– Еще бы. Я не сплю уже несколько часов. Мне так хотелось прийти к тебе. Как же здесь чудесно! Как же трудно бывает удержаться!

Какое-то время она сидела рядом и неотрывно смотрела на гладкую жемчужную поверхность воды в бассейне. Потом мы встали и пошли по влажной лужайке подальше от дома. А потом целовались, растворяясь в тумане. Целовались и говорили о том, о чем говорилось

и думалось не первый раз. От нее веяло любовью, юной нежной красотой.

Оттого что мучительно хотелось романтики, из-за ее неотразимой красоты я настоял, чтобы она сняла с головы платок и, простоволосая, погрузилась в дымку поднявшегося над травой тумана, чтобы предстала лесной нимфой.

Минуто-другую она колебалась, но потом, словно упиваясь своим гибким белым станом, скользнула, преодолевая страх, в бледный серебристый туман. Какая же красота и какая загадочность! И ее бледное оживленное лицо в серебристом тумане. Эти мгновения, все происходящее, казалось, будет длиться вечно, неизменно, останется навсегда.

Вспомнилось и еще одно событие тех майских дней. За лужайкой перед домом с клумбами, дорожками и теннисными кортами находилась рощица, где росли молодые ясени, кизил и березы. Роща эта, начинавшаяся сразу за кортами, гостей не привлекала – они предпочитали ходить на пляж, а не в лес.

Мы же с Аглаей как-то воскресным утром, воспользовавшись тем, что у Мартыновых и их гостей были другие планы, отправились в рощу и зашли в чащу, где еще цвел кизил.

В те дни мы еще не привыкли к нашим новым отношениям и испытывали страх, что будем обнаружены. Но в то утро нас неудержимо влекло в лес, туда, где сквозь деревья струился теплый солнечный свет.

Все вокруг дышало весной, вечным чудом возрождающейся жизни, под ногами шуршала прошлогодняя листва, окрашенная нежными лесными цветами. Но еще больше, чем весна, влекло нас в лес неудержимое желание.

Но как же тревожно было идти по этой тропинке! Одни ли мы сейчас в этом лесу? А что, если кто-то из гостей идет в том же направлении? Женя Мартынова еще не вставала, Мартынов же отправился на прогулку. И, несмотря на все это, мы, упиваясь чудесным весенним днем, страшась вынужденной разлуки, на которую были обречены большую часть дня, углублялись в лес все дальше и дальше.

А потом вдруг остановились. Она, бледная как полотно, не сводила с меня своих влажных глаз.

– Мы сошли с ума, – пролепетала она. – Это может плохо кончиться! Но мне все равно!

Я и сейчас вижу ее лицо в ореоле бурой листвы. А потом, вернувшись на лужайку перед домом с оживленным, невинным видом, она подбегает к какому-то молодому человеку и предлагает ему сыграть в теннис. А на меня даже не оглянется!

Не все, однако, всегда складывалось так же хорошо, объединяло нас в безумной нашей любви. Бывали дни, много дней, когда я, испытывая угрызения совести оттого, что запустил работу, или же из-за других каких-то неотложных дел, избегал ее – пусть думает что хочет.

Кроме того, родители, люди бдительные и предусмотрительные, следили за каждым ее шагом, и случались дни, когда ей приходилось со мной расставаться и ехать со светскими визитами, чему ее мать придавала большое значение. Аглая же эти выезды в свет терпеть не могла и очень огорчалась оттого, что была вынуждена подчиниться.

Да, она ненавидела эти никчемные светские обязательства, и прежде всего потому, что задумывались они только с одной целью – свести ее с каким-то подходящим молодым человеком и выдать замуж. А между тем после знакомства со мной о замужестве Аглая и слышать не хотела. Иной раз я не мог скрыть улыбки, когда она горячо убеждала меня в этом.

И тем не менее, какой бы страстной ни была наша любовь, когда мы подолгу не виделись и я целиком отдавался работе, я странным образом не скучал без нее так, как можно было бы себе представить.

И неудивительно. В то время я всей душой отдавался красоте и тайне жизни, многообразию великого города, в котором жил, а также прекрасному чувству, что я жив и являюсь частью такого замечательного города, народа и времени.

Подобное чувство было у меня тогда столь сильным, столь всеобъемлющим, что в такие дни я почти не вспоминал об Аглае.

Красота жизни! Ее цвет. Сила. Буйство. Романтика. Тайна. В этой великой борьбе за жизнь смешались сильные и слабые, красивые и невзрачные, веселые и мрачные. И обо всех – и о тех и о других – жизнь заботится. На свой манер.

Какой же соблазнительной казалась мне тогда жизнь, которой я жил. Никогда прежде не трудился я в столь идеальных условиях –

интеллектуальных и эмоциональных. Покой и уют этой большой, погруженной в тишину квартиры, красота Риверсайд-драйв и великой реки за окном, красота, которой, стоило мне повернуть голову, я от души любовался, не вставая из-за письменного стола: парходы, парусники, буксиры, далекий берег Нью-Джерси.

Жизнь за окном интересовала меня ничуть не меньше, чем жизнь под моим пером – жизнь, которую я исподволь описывал слово за словом. Как же бывал я доволен собой, когда после целого рабочего дня можно было отложить перо и, каким бы вымученным от неустанной работы ни было мое воображение, выйти из дома и бродить по улицам, чтобы прийти в себя, вновь обрести былой настрой.

Как же прекрасно жить! Быть здоровым, сильным, сочетать труд с досугом, дабы внести в жизнь разнообразие. К чему путешествовать? Разве мало жить в этом гигантском городе?

Я радовался жизни еще и потому, что у меня, помимо великого города, была Аглая, ее родители и их друзья, с которыми у меня установилась такая тесная связь.

Еще большее удовольствие доставляли мне (возможно потому, что я был так уверен в Аглае, полон ею) попытки созерцательно проникнуть под покровы жизни, углубиться в ее химические и такие многоликие комбинации, изучить ее огромный и поразительный, преисполненный сладострастия лик; попытки, заглянув в эту необъятную сущность, добраться мыслью до ее истоков или, сбившись с пути, изучить сенсорные реакции на ее многообразные и загадочные стороны.

В то время (было начало октября) Аглая обратила мое внимание на то, что, как ей показалось, за ней – а возможно, и за мной – установлена слежка. Неожиданные телефонные звонки и недвусмысленные вопросы при встрече она воспринимала как своеобразный допрос. Ее мать, как видно, насторожили частые летние поездки дочери в Нью-Йорк.

У Аглаи был – и даже, кажется, есть по сей день – учитель пения, к которому она имела обыкновение приезжать летом в город раз, а то и два раза в неделю. Эти уроки давали ей возможность со мной увидеться.

И вот теперь, совершенно неожиданно и под самыми разными надуманными предлогами, Женя звонила ее учителю и задавала ничего не значащие вопросы, окольно выясняя тем самым местонахождение дочери. Сходным образом, если Аглая говорила, что едет в магазин, или к зубному врачу, или к подруге, или к родственникам, ее передвижения прослеживались с предельной точностью.

Несколько раз, когда Аглая была в городе, но не со мной, в квартире Мартыновых раздавался телефонный звонок, и чей-то не известный мне голос просил позвать к телефону, причем без всякого повода, Мартынова или миссис Мартынову. Звонили же – на сей счет у нас с Аглаей не могло быть и тени сомнений – с целью установить, где я в данный момент нахожусь. Разумеется, в нас обоих звонки эти посеяли чувство тревоги, особенно беспокоилась Аглая: даже подозрение, не говоря уж о разоблачении, вызывало у нее ужас, и, в конце концов, мы решили, что лучше всего мне будет съехать.

Она не хотела, чтобы я уезжал, очень по этому поводу тосковала, однако сочла, что ради наших отношений сделать это необходимо. Того же мнения придерживался и я. И вот наконец, после многочисленных отсрочек, выдуманных Аглаей, которая никак не хотела мириться с тем, что я уезжаю, как-то раз, после возвращения Мартыновых в Нью-Йорк, я объявил им, что контракт с издательством требует моего присутствия в Филадельфии, и мне придется их покинуть. Мартынов, не подозревая об истинных причинах моего отъезда, стал настаивать на том, чтобы я остался. «Какая чепуха! Не всю же оставшуюся жизнь вы проживете в Филадельфии, в самом деле! Когда-нибудь же вернетесь в Нью-Йорк, правда? Зачем уезжать? Живите у нас, а в Филадельфию наезжайте по мере надобности. Ехать ведь недалеко. Рано или поздно вы же все равно вернетесь в Нью-Йорк. К чему покидать эти комнаты, мы ведь ими не пользуемся, к тому же вы теперь член семьи, нам будет вас очень не хватать!»

Вот и Женя тоже – и это несмотря на ее подозрительность и страх за Аглаю – поддерживала, по крайней мере на словах, своего мужа. Окидывала меня так же, как и раньше, ласковым и при этом каким-то непроницаемым взглядом, в котором таилась если и не враждебность, то, во всяком случае, тревога и настороженность.

Да и мне, признаться, уезжать очень не хотелось, ведь я так привязался к этим людям: к Мартынову, к его жене, к Аглае, к ее

нежной любви. Как же мне жить без своей чудесной комнаты, без трогательной заботы, которой меня окружили? На столе каждый день свежие цветы, новая, только что вышедшая книга, билет на премьеру или на концерт.

А Мартынов! Ведь и мне будет его не хватать! Бывало, ввалится ко мне перед ужином, усядется в кресло, вытянет ноги под стол и громогласно потребует, чтобы мы с ним вышли пропустить по стаканчику виски.

А Женя! Даже если что-то она и заподозрила, любила зайти ко мне перекинуться словом об общих знакомых, о книгах, о музыке. И всегда с каким-то намеком, с чем-то невысказанным, о чем не решается признаться. С разговором по душам, которого я из-за Аглаи старался избегать. Она и теперь не раз вспоминается мне: затаившаяся, изысканная Венера, обходительная, восхитительная матрона, матрона из матрон.

Тяжелее же всего было думать о том, что теперь я лишусь Аглаи, ее пылкой и такой уютной близости. Я не мог себе представить, как буду жить без нее, без ее присутствия в музыкальной комнате за пианино, в гостиной или в библиотеке: утром – в халатике, днем – в прелестном домашнем платье или в уличном наряде; без ее улыбки и многозначительного взгляда, которые она – вне зависимости от того, была у нас возможность перекинуться словом или нет – дарила мне и в которых выражались ее чувство и радость от встречи со мной; без ее неожиданных, тревожных, но осмотрительных появлений в моей комнате, где я наскоро, чтобы нас не застали, ее целовал и ласкал. Всеу этому больше не быть! Не быть никогда!

Целую неделю она почти ничего не говорила о моем отъезде, о том, как сложатся наши отношения, когда я уеду. Как раз тогда я вчерне закончил свою книгу и на последней странице вывел слово «Конец». Заглянув ко мне в комнату, она увидела это слово.

– «Конец»! О боже! – воскликнула она. – Дописал? Правда? Не нравится мне это слово, уж очень оно безысходное. А ведь раньше я его так любила!

С тех пор как началась наша связь и даже до нее, ее очень интересовало, что я пишу: она читала отрывки из написанного и иногда помогала мне разрешить какую-то психологическую головоломку, восстановить последовательность действия.

– Теперь ты больше не будешь работать за столиком у окна, так ведь? – продолжила она. – Ты еще только у нас поселился, у меня тогда и в мыслях не было, что мы будем вместе, а я уже представляла себе, как ты будешь здесь сидеть и писать, а я – играть на пианино. Я думала, ты догадаешься. И ты догадался – не зря же ты, стоило мне начать играть, вставал из-за стола и выходил из своей комнаты. Ах, я уже тогда так тебя любила – только не хотела в этом признаваться. Даже себе самой. Это было похоже на сон. Ты и я. Мне хотелось, чтобы ты знал; хотелось и не хотелось. Нет, я больше никогда не зайду в эту комнату, если тебя тут не будет. Я не смогу, я знаю... – И она, сложив на груди руки, посмотрела куда-то в сторону, как будто заглядывала в будущее.

И все же, в конце концов, я переехал – в квартиру на улице Сентрал-Парк-Уэст с видом на Центральный парк. А сначала отправил свои вещи на Пенсильванский вокзал, чтобы Мартыновы подумали, что я и в самом деле еду в Филадельфию.

В какой же тяжелой, непривычной депрессии я находился уезжая! Я испытывал напряжение, какое бывает в пору больших перемен и больших потерь. К чему вся эта любовь, если она так быстро кончается! Такое бывает, когда в юности уходишь из дома.

Мне запомнилось, как я стою в моей новой квартире, на полу чемоданы. Стою, смотрю в окно на Центральный парк и думаю, как же все здесь холодно и неинтересно! И как мне будет здесь одиноко! Вид великолепный, но нет ни Аглаи, ни Мартыновых, ни их дома. И не успел я сказать себе эти слова, как пришла телеграмма от Аглаи. «Пожалуйста, не тоскуй, любимый», – написала она и назначила время и место, где мы могли бы в тот же день встретиться.

И мы каждый день назначали друг другу свидания в местах, где нас вряд ли могли застать, либо обменивались телеграммами и записками. И продолжались наши встречи вплоть до самого Рождества, когда я решил зайти к Мартыновым сказать, что вернулся в Нью-Йорк.

К этому времени Аглая – случайный характер наших встреч ее не устраивал, и после каждого свидания она становилась все смелее – решила наконец войти в мою новую квартиру. При этом она по-прежнему была в себе не уверена, тщательно выбирала время и подолгу прикидывала, приехать ей или нет.

Любопытно, что с переменой моего местожительства переменилась и моя судьба. Мою книгу приняли к публикации, выплатили вполне приличный аванс и даже посулили поездку в Европу, которая со временем и состоялась.

Мало того. Моя книга так понравилась, что мне предложили работу в крупном журнале и приличную зарплату, что существенно увеличило мой доход и позволило переехать из однокомнатной квартиры в двухкомнатную.

Вдобавок в это же время я задумал третий роман – «Финансист», для работы над ним, как я вскоре понял, придется со временем отправиться в Филадельфию, ту самую Филадельфию, под предлогом поездки в которую я покинул дом на Риверсайд-драйв. В настоящее время, однако, работа в нью-йоркском журнале не отпускала, и о своих планах я не распространялся, поскольку раньше весны следующего года заняться новым делом все равно не смог бы.

Тем временем – возможно оттого, что наши с Аглаей отношения были отношениями свободных людей, оттого, что нашему союзу, казалось бы, ничто не угрожает, – у меня наступило нечто вроде пресыщенности, столь свойственной моему характеру, и я задумался, так ли уж мне хочется продолжать с Аглаей встречаться, получать от наших свиданий удовольствие. Как же я был непостоянен! Как жесток! И со временем пришел к выводу, что недалек тот день, когда Аглая – подумать только! – может мне надоест.

Откуда такое в человеке? Может ли он справиться с тоской, усталостью, если попытается задуматься о том, что с ним происходит? И, углубившись в себя, я решил, что такое невозможно. Только атомы, частицы, из которых я состою, могут «коллективно» решить, продолжать мне отношения или нет. Долгое время я не мог отогнать от себя эту мысль, я даже ее записал, но от горького чувства, что Аглая может мне надоест, не избавился.

Нет, в любом случае пока никаких перемен! Аглая была слишком очаровательна, временами по-настоящему красива, когда она, в мехах или закутавшись в облегающую ее стройную фигуру шаль, тихонько, будто крадучись, входила ко мне в комнату. Розовые щечки, глаза ясные и лучистые, словно погруженная в сумерки вода, – во всем ее облике ощущалась страстная любовь к жизни, к красоте. Как же она

любила играть на пианино, танцевать, ходить вечерами по гостям и в рестораны, или гулять, или водить машину, или принимать гостей...

И, несмотря на это, оставаясь со мной наедине, она предавалась мечтам, часто говорила, какую бы чудесную жизнь мы с ней вели, решишь я на ней жениться. А потом, словно бы с укором добавляла, что лейтенант – то ли оттого, что она не уделяла ему внимания, то ли потеряв к ней интерес, – уехал и в настоящее время находится в Лондоне. Родители, впрочем, не отчаялись и в самом скором времени нашли ей другого жениха. Рассказала мне Аглая и о том, что ее мать не скрывает: она недовольна тем, как дочь повела себя с лейтенантом. Совсем недавно миссис Мартынова завела разговор о том, сколь же мужчины переменчивы, а также о том, что всякая красота преходяща, а потому необходимо – если только она не ощущает в себе какой-то особый дар – выйти замуж и обеспечить себе достойную, благополучную жизнь.

Мама, говорила Аглая, не устает повторять, что она (Аглая) принадлежит к числу тех женщин, которые непрактичны, а потому ей следует не карьеру делать, а детей рожать. «И я бы с ней согласилась, – добавляла она, – если бы моим мужем был ты. Я бы хотела выйти за тебя и иметь от тебя детей. Ни о ком другом я даже помыслить не могу. Но ведь я знаю, правда же, знаю, что это безнадежно, и мне бы следовало прислушаться к тому, что говорит мама. Если б только я могла объяснить ей, что хочу пойти в актрисы или всерьез заняться пением, – тогда, если ты меня бросишь, у меня была бы профессия. А пока не бросишь, ни за кого другого замуж я не пойду, так и знай!»

Громко сказано! Но ведь и я, как и она, чувствовал, что нашим отношениям рано или поздно наступит конец. Я же всего несколько лет назад расторгнул брак, который оказался непереносимым. И, однако, стоило мне, в который раз, чистосердечно заговорить с ней о том, что, коль скоро в мужья я не гожусь, было бы лучше всего, если бы она меня бросила, – как в ее глазах прочитывалось такое отчаяние, такая тоска, что переносить это отчаяние было мне не по силам. Хуже всего было то, что я и помыслить не мог навязать ей решение со мной расстаться: без меня она себе жизни не представляла.

Поскольку теперь мы виделись с Аглаей реже, я начал встречаться и с другими женщинами, хотя первое время не было ни одной, кем я мог бы увлечься так, как Аглаей.

То были не более чем интрижки, чувственные увлечения то одной, то другой – никогда ничего серьезного. Из-за Аглаи я не только не сходиллся со многими женщинами, которые имели на меня виды, но старался держаться от них подальше. С осени до весны следующего года, пока я работал в журнале и собирал материал для «Финансиста», Аглая оставалась для меня сильнейшим эмоциональным, да и интеллектуальным подспорьем; она, как никто в моем окружении, разбиралась в людях, чувствовала их, видела то, чего не видят другие.

И все-таки, как бы в тот год ни был ей увлечен, я уже не воспринимал ее одной-единственной, как еще совсем недавно воспринимал Ленор.

И вот весной, когда я был еще в Аглаю влюблен, у меня появилась новая связь – женщина, которая никоим образом не могла заменить мне Аглаю, но при этом была вполне способна вызвать у нее ревность и доказать то, что Аглая знала всегда: ее путь не будет устлан розами.

Произошло вот что. Знакомый художник однажды пригласил меня на вечеринку в одну из тех богемных студий, что вошли в моду задолго до Гринвич-Виллидж и сосредоточились в районе Вашингтон-сквер. Проработав весь день, я отправился туда часов в одиннадцать. Большого впечатления гости на меня не произвели, но я познакомился с девушкой, которая показалась мне интересной. Как выяснилось, она была дочерью воинствующей суфражистки, которая одно время работала директором школы и придерживалась взглядов, вызывавших у ее руководства откровенное неприятие.

Раньше я знал ее плохо, да и то стороной, а ее дочери не знал вовсе. На этой вечеринке присутствовали обе. В дочери – назову ее Вильма Ширер, – юной сильфиде, энергичной и очень сексуальной, с хорошеньким личиком и фигуркой, было что-то неуловимо притягательное, то, что сразу же, с первого взгляда, привязывает мужчину к женщине. На мой вкус, Вильма была яркой личностью – яркой и талантливой: она готовилась стать актрисой, в одной из нью-йоркских театральных школ занималась танцами и сценической речью. Бросалось в глаза, что развлекаться ей куда больше по душе, чем работать, а уж если работать, то развлекаясь. А поскольку мне она сразу же очень приглянулась, а я понравился ей, то не прошло и часа, как мы договорились, что в самом скором времени обязательно

увидимся снова, и обменялись взглядами, которые были красноречивее слов.

И мы увиделись. Спустя неделю, побывав с ней, и не один раз, в ресторане, на дансинге, в театре, я пригласил Вильму к себе, и она согласилась, после чего на протяжении полутора месяцев я так ею увлекся, что с Аглаей встречался реже обычного и, случалось, даже забывал о ее существовании.

Впрочем, несмотря на эту новую связь, Аглая оставалась для меня такой же желанной, как и раньше. Я решил: если, узнав о моей измене, она меня не бросит, не брошу ее и я. Да, Аглая не стала менее красивой и желанной, но ведь теперь была у меня и другая женщина. Она отличалась ничуть не меньшим, если не бо́льшим, шармом, к тому же была в ней новизна, оригинальность, загадочность – все то, что так привлекает нас в новых знакомых.

И то сказать, как же интересно и приятно слышать новый голос, видеть новое лицо, встречаться с женщиной, которая иначе одевается, разговаривает, смеется – тем более если женщина эта молода и хороша собой.

Верность? Измена? Разве может мужчина или женщина в вихре новых увлечений задумываться о подобных тонкостях? Нет, конечно! Вожделение столь сильно и непреодолимо, что об него разбиваются все теории и понятия о постоянстве и нравственности. Под воздействием наших увлечений эти понятия воспринимаются иначе, меняются и без этих изменений не могут существовать.

Сексуальная жизнь человека – это его поведение, а не теория, и поведение это определяется его природой. Откровенно говоря, я был одним из тех, кто на себе ощутил все прелести и превратности подобного поведения. Какие же муки и в то же время какой же любовный пыл я испытал! Вожделение от лица, улыбки, локона, нежного, проникновенного взгляда.

Во все века наша литература воспевала вожделенную красоту груди, бедер, ног, талии; радость, счастье от соития с возлюбленной. Но не будем себя обманывать: нам воспеть чувственную красоту возлюбленной не позволит ханжеская нерешительность.

Мое отношение к Аглае нельзя назвать однозначным. Слава богу, говорил я себе, что никогда не давал ей повод обманываться на мой счет. С самого начала она знала, с кем имеет дело. Так почему же

теперь, когда моя привязанность к ней ослабела, мне следовало пренебречь своим новым увлечением?! Скажи я Аглае, что всецело предан ей, и она бы наверняка недоверчиво улыбнулась. И то сказать, откуда было взяться в сложившихся обстоятельствах этой преданности, ведь она входила в противоречие с удовольствиями, которые я получал от жизни, от приобретенного опыта. По сравнению с желанием разнообразить жизнь, расширить жизненный опыт мои чувства к Аглае были недостаточно сильны.

Излишне говорить, что не прошло и двух, самое большее – трех дней после моего знакомства с Вильмой, как Аглая что-то почувствовала. То, как я себя вел, сразу же навело ее на мысль – что-то изменилось.

Возможно, я перестал относиться к ней с прежней теплотой, интересом. Как бы то ни было, у нее немедленно возникли многочисленные вопросы. Я что, ее разлюбил? Что-то случилось, любимый? Вернулась Ленор? (Я, разумеется, высмеял это вздорное предположение.)

Ее, однако ж, не убедил. Во мне что-то переменялось? Вот только что? Я кого-то встретил? С тех пор как я покинул их квартиру на Риверсайд-драйв и она проводила со мной меньше времени, исключить такую возможность было никак нельзя. Этого она и боялась. Но ведь она так меня любит – неужели я не могу хотя бы некоторое время ей не изменять? Не хуже же она остальных!

Сейчас мне уже трудно сказать, как в возникших обстоятельствах я на все эти вопросы и упреки реагировал. У многих эмоции, возникшие у любителя острых ощущений, откровенная наглость, с которой он позволяет себе этими эмоциями делиться, не вызовут ничего, кроме широкой улыбки.

И тем не менее против истины не пойдешь. В перемене увлечений и настроений и состоит, собственно, суть и пафос нашей жизни. Как часто, наблюдая за Аглаей и за другими до нее, становился я свидетелем того, как эта наша переменчивость присуща даже тем, кто отличается устойчивым, твердым нравом.

Ты хочешь одного, другой – другого. Мне нужна ты, тебе – другой. Я тебя люблю – и не отпускаю, ты же любишь другого – и хочешь быть свободной. Отсюда – сердечные муки, стенания, смерть.

Человек ищет перемен. И в то же время боится, когда перемены происходят слишком быстро и хаотично. Если же ему что-то достается, он будет стремиться удержать это достояние хотя бы на время.

Объятия, ссоры, пожатие руки, ищущие губы – вожделеешь ко всему новому! Кто хочет перемен? Вы? Я? Перемены существуют независимо от нас. И от этого никуда не деться. Это закон. Его не перепишешь. Его не избежишь. Мне это не по силам. Человек меняется – и с этим уж ничего не поделаешь!

В ситуации, в которой оказались мы с Аглаей, мне было очень не по себе – и это притом, что изменился я, а не она. Ее состояние я понимал ничуть не хуже своего собственного. Понимал, что, узнав всю правду, она будет очень страдать, точно так же, как я, лишившись возможности действовать по своему усмотрению, испытаю глубокое разочарование. Мучиться будем мы оба: я – от того, что меня держат на привязи, она – от того, что меня лишается. В то же время я успокаивал себя тем, что до тех пор, пока она ничего не знает, никаких мучений ни она, ни я испытывать не будем. А раз так, что плохого в том, чтобы продолжать встречаться с Вильмой, ведь в вечной любви я Аглае не клялся?

Вот почему я поднимал Аглаю на смех, стоило ей завести разговор о том, как я переменялся, и одновременно с этим боялся, как бы Вильме не взбрело в голову зайти ко мне в то время, когда у меня в гостях Аглая. Девушкой Вильма была импульсивной и в то же время осмотрительной, сдержанной, юной насмешницей, такой же, как Аглая.

Но прошло совсем немного времени, и Аглая была вынуждена с существованием Вильмы смириться. Она столкнулась с нами лицом к лицу, когда мы выходили из моей квартиры. Вильма шла со мной под руку, своенравно и весело пританцовывая.

Я заметил Аглаю издали и по ее лицу сразу сообразил, что она все видит и понимает. Лицо бледнее белого, и даже походка, когда она подошла ближе, напряженная, неестественная. Она посмотрела на меня, потом на Вильму; взгляд ядовитый и в то же время какой-то беспомощный. Посмотрела и, не сказав ни слова, прошла мимо. И как я ни старался, хорошее настроение мне сохранить в тот день не удалось. Я напрягся, сник, и Вильма обратила на это внимание.

– Кто эта девица? – полюбопытствовала она.

– Еще что спросишь? – сделав над собой усилие, отозвался я. – Почему ты спрашиваешь?

– Потому что она как-то странно на нас посмотрела. Держу пари, ты тоже ее знаешь, – заключила она и испытующе на меня взглянула. Надо отдать Вильме должное: собственнический инстинкт у нее отсутствовал.

Но Аглая! Я не мог забыть ее лица. Оно преследовало меня, мешало повеселиться на Кони-Айленде, куда мы с Вильмой в тот вечер направлялись. Не мог же я не думать о том, как Аглая, должно быть, страдает и во что выльется наша с ней следующая встреча. Если только она захочет встретиться, но что-то мне подсказывало, что захочет, – и этого я боялся больше всего. Из чувства ко мне, а также из присущей ей широты мышления она, я точно знал, не станет обвинять ни меня, ни другую женщину, скорее уж себя, за то, что своими страданиями всем причиняет беспокойство.

Я задумался. Задумался и расстроился. Хотите верьте, хотите нет, но я вновь ее полюбил, и очень сильно. Ее дом! Какое же счастье я там испытал!

Прошел день, потом два дня, потом – три. Прелесть Вильмы потускнела, я уже подумывал, как бы от нее избавиться. Поскорей и навсегда. Ведь это она (не я же!) всему виной. Как же у меня было тяжело на сердце!

И тут, вечером третьего дня, в одиннадцать, как раз когда я собирался идти разыскивать Аглаю получаю с посыльным записку:

«Любимый, какой же ты жестокий! Я уже давно жду от тебя известий, вчера прождала целый день, и позавчера, и всю прошлую ночь. Тебе что же, нечего мне сказать? Не могу заснуть. В одиннадцать пойду к мемориалу Гранта – помнишь, небольшой каменный постамент, где мы с тобой стояли однажды вечером. Неужели ты настолько меня разлюбил, что тебе совсем нечего мне сказать?»

От этих слов веяло неподдельным страданием. Я схватил шляпу и трость, вызвал такси и подъехал к мемориалу, не зная толком, как себя вести. Она уже была здесь, шла мне навстречу. В свете дуговых фонарей ее изможденное лицо поражало какой-то восковой

бледностью, под глазами лиловые разводы, как будто ей поставили синяки. А все оттого, что предается тяжким раздумьям.

Какой ужас, подумал я. Как же я бессердечен! Я поспешил ей навстречу, и она, без тени упрёка в глазах, даже не глядя на меня, взяла мои руки в свои и крепко их сжала.

– Ничего не говори, – едва слышно сказала она. – Пожалуйста, не говори сам и не вынуждай говорить меня. Я не в силах. – И тут вдруг она отвернулась, нет, не резко, не порывисто, а как-то мягко, и по тому, как вздрагивают ее плечи, я понял, что она плачет.

– Аглая! Любимая! – вскричал я. – Как ты не понимаешь, если б я тебя разлюбил, меня бы здесь не было. Я боялся прийти, думал, что, может, я тебе не нужен. Но я тебя не разлюбил, честное слово! Прости меня!

– Пожалуйста, прошу тебя, любимый, – сказала она, – ничего не говори, я этого не перенесу. Ах, уж лучше б я не видела, как она повисла у тебя на руке. Ах! – Она осеклась, и плечи вновь судорожно затряслись.

– Аглая! – взмолился я. – Ты же знаешь, как нужна мне. Знаешь, так ведь? Конечно же, знаешь.

– Только ничего не объясняй, любимый, это не поможет. Ни мне, ни тебе. Ты же и без слов все понимаешь – и про меня, и про себя. Лучше б мне было не видеть. Это так тяжело. Лучше б мне было не видеть! – И внезапно добавила: – Обними меня, обними меня, пожалуйста. Обними, и давай вот так, молча, постоим. Не нужно ничего говорить.

У меня брызнули слезы. Я не мог сдержать рыданий. Ее нежность, ее страдания совершенно меня раздавили. Подумать только, сказал я себе, она так красива, так умна, так благополучна, что по идее должна быть счастлива, она же, влюбившись, несчастна.

Как же трогательны страдания, которые она испытывает! Как же она благородна, прелестна, чувственна, непредсказуема! И при этом не требует объяснений, ни в чем меня не упрекает, лишь просит, чтобы ее крепче обняли, хочет ощутить тепло и сочувствие. И чье? Человека, который больше всего перед ней виноват, причинил ей тяжкую боль. Как вести себя с женщиной вздорной, своенравной, непокорной, я вполне себе представлял, но с такой, как Аглая?..

Так мы просидели больше часа, я пытался оправдаться и, как мог, извинялся за свое непостоянство, она же гладила мне руки,

прижималась ко мне всем телом и повторяла:

– Ничего не говори! Только обнимай меня покрепче!

– Аглая, любимая, уже очень поздно, – сказал я наконец. – Твои родители... ты же их знаешь. Тебе пора домой.

– Да, знаю, знаю, останови такси, слышишь? И доезжай со мной до самых дверей. Сейчас, в эти минуты, я не в состоянии с тобой расстаться. Боже, как же мне хочется провести с тобой эту ночь! Какое это было бы счастье!

Я остановил такси, и мы сели. В квартале от ее дома я велел таксисту остановиться и стал ждать, пока Аглая придет в себя.

– Приедешь ко мне завтра утром? – спросил я.

– Да, да. Как только смогу улизнуть, приеду! Ох как же я ослабела!

С этими словами она вышла из такси и направилась к дверям своего дома, а я, погрузившись в невеселые раздумья, вернулся к себе.

На следующий день произошло полное примирение – и это притом, что Вильма оставалась при мне и меняться я не собирался. Какую бы цель, благородную или дурную, мы ни преследовали, пользы она нам не принесет, если не будет соответствовать нашему нраву. Как бы ни сочувствовал Аглае, я отдавал себе отчет в том, что по природе своей не склонен к постоянству, не могу подолгу испытывать чувство к одной и той же женщине.

Меня, человека переменчивого, увлекающегося, прельщали многие, очень многие. Я шел своим, часто одиноким путем свободного, необузданного, ни с кем и ни с чем не связанного существа. И Аглая это понимала. И от этого мы становились еще ближе.

И тем не менее ее судьба вызывала немало горьких мыслей, ее страсть стоила ей многих душевных сил.

– Не знаю, смогу ли я и дальше переносить все это, – как-то сказала она мне. – Я ведь с самого начала знала, как все будет и как поведешь себя ты. А теперь... – Она сделала паузу, по всей видимости, задумавшись над тем, что еще сказать, а потом с иронической усмешкой кокетливо добавила: – Какой же ты, однако, искусный лжец! С какой убежденностью доказываешь свою невиновность! – После чего стала попрекать меня моими лживыми заверениями.

Я же в качестве самозащиты ответил ей старой поговоркой про любовь и войну.

– Раз я тебя так люблю, – сказала она мне на это, – приходится тебе верить, другого выхода у меня нет. В противном случае, думаю, я бы повела себя иначе. Но ведь ты же пока все равно меня любишь, я знаю. Пусть даже она тебе и нравится. Она моложе меня, и потом, она новая... Но ведь не любит же она тебя больше, чем я, правда? И потом, она ничуть не красивее меня. Ты вернешься. Может даже, она уйдет, а я останусь.

И как в воду смотрела. Какой бы соблазнительной ни казалась мне Вильма вначале, связь наша продолжалась только до следующей осени: она уехала из Нью-Йорка на гастроли. Интерес к ней я потерял по двум причинам. Во-первых, в ее взглядах на жизнь не хватало романтики, и, во-вторых, она была слишком практична, расчетлива.

Уехать уехала, но продолжала забрасывать меня забавными, но не слишком эмоциональными письмами, в которых рассказывала о своей работе и о своих романах, рассчитывая, что я ее пойму и ей посочувствую, что я и делал, насколько это было в моих силах. Продолжалась наша переписка недолго: очередное увлечение, о котором я узнал впоследствии, так ее захватило, что больше я о ней ничего не слышал.

Аглая же была, как и раньше, со мной, мы встречались у меня в квартире или у нее дома, где иногда я оставался ужинать и наслаждался всегда любопытным, а иной раз и запоминающимся обществом, в котором вращались Мартыновы.

Какой же очаровательный был этот дом! Какие умные гостеприимные люди! Все десять лет, что мы поддерживали дружеские отношения, я испытывал чувство единодушия и покоя, пока время и разного рода превратности судьбы – дела, браки, переезды, смерть – нас не разлучили.

И все это время – как это ни покажется странным – Аглая была моей главной поддержкой и опорой, и не только чувственной, но и эмоциональной. Она окружала меня заботой мало сказать дружеской – материнской, только и думала о том, как бы ввести меня, человека независимого, эгоцентричного, в круг близких ей людей.

Совсем еще молодая, она прекрасно разбиралась в людях, чувствовала мое отношение и к себе, и к Вильме. Понимала, что всему виной мой темперамент, и если отношения рвутся, то навсегда; восстановить их невозможно. В таких случаях вместо этих связей

появляются другие, и если между мужчиной и женщиной возможно истинное чувство, то лучше в эти отношения не вмешиваться, дать им развиваться своим путем.

Теперь, во всяком случае, как-то сказала она мне, после всего, что ей пришлось пережить, она не станет – не сможет – так же сильно страдать снова. И до тех пор, пока она верит, что я люблю ее не меньше любой другой, она постарается не роптать на судьбу, ничего не говорить и делать вид, что все идет своим чередом. Теперь-то, сказала Аглая, она знает, что я из тех мужчин, кому необходима свобода и кому важно постоянно набираться разнообразного опыта. Пока она в меня влюблена, ставить мне условия она не станет.

Но если когда-нибудь я все же захочу развестись и на ней жениться, все наши с ней проблемы останутся в прошлом. Став моей женой, она перестанет нервничать, сокрушаться, как теперь. Никаких нервов! Я смогу жить так, как мне заблагорассудится.

Каким бы мечтам она ни предавалась, какие бы прогнозы ни строила, наши отношения не только не улучшились, но даже ухудшились. Вопреки всем своим заверениям, Аглая продолжала нервничать, и однажды, вскоре после окончания моего романа с Вильмой, заподозрив, что я увлекся другой (что соответствовало действительности), пришла ко мне рассказать, что на днях отец позвал ее к себе в кабинет и заговорил с ней очень ласково, но настороженно.

Почему уехал лейтенант? Почему она допустила, чтобы он уехал? Она что, не понимает, что ее молодость проходит? На ярмарке невест двадцатитрехлетняя котируется ниже восемнадцатилетней. Почему она замкнулась в себе? Чем она раньше только не увлекалась, куда только не ходила, а теперь за вычетом музыки и чтения у нее не осталось никаких интересов, а если они и есть, он про них ничего не знает. Почему? Чем она занимается? На что тратит время? У нее есть кто-нибудь? Он знает этого человека? Какая-то тайная связь, с которой она не в состоянии порвать? Не может ли он ей помочь? Неужели она не понимает, как он ее любит? Не понимает, что она, что бы там ни было, может ему довериться, рассчитывать на его помощь?

И она может не беспокоиться, он никому ничего не скажет, если только она сама этого не захочет. Даже ее матери. Даже если этот человек женат и связь с ним ничем не кончится. Он и сам когда-то был молодым, у него были девушки, были и замужние женщины, бывало

всякое. Ее мать знала о его романах и не вмешивалась. А он, в свою очередь, не вмешивался в ее жизнь и во всем ей помогал: деньгами, советами, молчанием, – всем понемногу.

Он говорил, вспоминала Аглая, посадив ее себе на колени и лаская ее. Отца она любила больше всех, но и ему ничего не говорила – не могла, не хотела.

Ни за что! Нашей тайной ни она, ни я ни с кем делиться не собирались. Хотя Аглая знала, что отец никому ничего не расскажет, ее не выдаст, все равно не хотела ему говорить, потому что боялась, что вне зависимости от того, будет Мартынов молчать или нет, он вполне может прийти ко мне и завести дружеский разговор, поделиться со мной своими проблемами, в том числе и этой; она прекрасно знала, как это бывает. Мне бы это не понравилось, да и ей тоже. Нет-нет, на этот счет мне беспокоиться нечего.

Я стал уговаривать ее расстаться со мной, говорил, что я ее не стою, что она красива, богата, может выбрать любого из многих наших общих знакомых и таким образом устроить свою жизнь. Но стоило мне заговорить на эту тему, как она зажимала мне рукой рот, чтобы я помалкивал. К чему эти разговоры? Разве я не люблю ее хоть немножко, хоть самую малость? Разве она не просила меня на ней жениться? Не настаивала на этом? Пусть будет как будет – она ведь просто пересказала мне, что сказал ей отец.

И все же я не мог не чувствовать, что Аглая втайне страдает. Другим она радовалась от души, улыбалась, мне же – как-то вымученно. В то же самое время слезы, дурное настроение, которые она могла себе позволить в мое отсутствие, при мне «исключались». Она делала над собой усилие, да и человеком по природе была жизнерадостным. Случалось, она даже посмеивалась над моими проблемами, которыми я с ней иной раз делился, называя ее моей духовной матерью. Поднимала меня на смех, но всегда, всегда в этом смехе таилось страдание.

Аглая! Чудная Аглая! Где бы ты ни была – прости.

В этом месте отвлечемся. Мне предложили написать книгу о Европе и обеспечили необходимыми средствами. Такой возможностью никак нельзя было пренебречь, о чем я и сообщил Аглае. Себе же сказал: вот ситуация, когда Аглае сподручно будет избавиться от своей

страсти и понять, сколь нереальны ее надежды соединить со мной свою жизнь.

Она не увидит меня шесть, а то и восемь месяцев, может, и больше. У нее будет время подумать, возможно – найти себе кого-то еще. Влияние родителей также наверняка сыграет свою роль. И хотя писал я ей не слишком часто, находясь под впечатлением от того, что видел и делал, от нее приходили многочисленные и прекрасные письма и телеграммы.

Как поживает ее малыш? Ее любимый? Он радуется жизни? Он видит все, что хотел увидеть, встречается со всеми, с кем хотел встретиться? А как ему девушки в Англии, Франции, Италии, Германии? Ах, могу себе представить! Такому, как я, верить нельзя. И все же я ведь о ней порой вспоминаю, правда? Она уверена, что вспоминаю: она же все время обо мне вспоминает и ждет не дождется того дня, когда я вернусь и заключу ее в свои объятия. Риверсайд-драйв, моя комната – все как было. Утром, вечером и в полдень она по-прежнему смотрит из окна на реку и думает о том, как же было замечательно, когда я у них жил и на реку мы смотрели вместе. Тогда было замечательно, а теперь – грустно. Бродвей, Сентрал-Парк-Уэст, моя квартира. Иногда, проезжая в тех местах, она поднимает глаза, и ей становится так больно... Меняется время, меняется жизнь.

Писала она обо всех понемногу. И об Америке. И о себе. Судя по всему, она ничего не делала: мечтала, читала, ждала. А ее письма, как и фотографии, которые она иной раз вкладывала в конверт, возбуждали во мне желание поскорей увидеть ее вновь, быть с ней, ведь ее любовь была такой сильной, такой жертвенной.

И в мае следующего года мы встретились вновь, в другой квартире, недалеко от ее дома. С каким же бьющим через край восторгом она меня встретила – восторгом трогательным, даже пугающим. Какие глаза! Улыбка подобна распустившемуся цветку, легкая, воздушная походка! Мы опять вместе. Как же давно тебя не было, как давно! Наконец-то! Тогда мне казалось: что бы ни произошло, Аглая всегда будет где-то рядом, я никогда ее не брошу, и она меня тоже.

И все же не успел я вернуться в Америку и вновь сесть за работу, как появилась Э., пасторская дочь. И хотя из-за нее Аглая была вынуждена опять предаваться страданиям и даже еще более безутешным, чем при Вильме, она все равно нисколько не изменилась.

Нет, не из-за мягкотелости, она просто меня любила, любила сильно, всем сердцем. Но моей связи с Э. она не перенесла; когда наш роман только начинался и Аглая о нем узнала, она со мной рассталась. Шли дни, минуло, если ничего не путаю, восемь дней, и вот однажды я встретил ее на Риверсайд-драйв с молодым бизнесменом, с которым как-то познакомился у нее дома. Увидев их, я испытал страх и горькое разочарование, ведь я считал ее своей собственностью. Моя Аглая! И с другим! Как же так? Она же говорила мне, писала о своей любви. Я сразу же решил: зайду к ней или позвоню и, если получится, восстановлю наши отношения. И в тот же вечер явился к Мартыновым и, когда представился случай, с ней заговорил. И понял, что она настроена против меня. А спустя какое-то время оказалось, что все совсем еще не так плохо.

Верно, говорил я, у меня появилась другая. И я ею увлечен. Но ведь я же сам к ней пришел, сам ищу с ней встречи, разве нет? И если... и так далее и так далее – долго рассказывать. Короче говоря, я лгал и лгал, но меня не покидало чувство, что удастся Аглаю удержать. И, в конце концов, удалось, вскоре она уже, как встарь, сидела у меня на коленях, обвивая руками мою шею. О боже, она чуть не умерла. Она так рада, что я вернулся. Но, право же, я должен задуматься. Она не может оставаться со мной против моей воли, хотя никого, кроме меня, уже не полюбит. Но когда она так страдает, она способна сделать все, что угодно: выйти замуж за другого или покончить с собой. Но как же ей больно, как же больно!

И после всего этого (и из-за этого) я ей лгу! Уловки и отговорки! Однажды, до того как Аглая в первый раз увидела Э., Э. увидела Аглаю. Аглая стояла вместе со мной на одном из перекрестков верхнего Бродвея – место в те годы куда более симпатичное, чем сегодня. И, прежде чем расстаться (всего через несколько минут у меня была назначена встреча с Э.), я ее поцеловал.

И Э. – она прогуливалась перед рестораном, где мы договорились встретиться, – это увидела и пришла в ярость. Потом она мне сказала, что решила больше со мной не встречаться, но, образумившись, передумала и поинтересовалась, кто эта женщина. От гнева лицо ее стало восковым: Не припомню, чтобы кто-нибудь пребывал в такой ярости, – на лице Э. не было ни кровинки. Однако после того, как я объяснил ей, кто такая Аглая, и пошел ва-банк: «Хочешь расстаться? Давай расстанемся!» – она сменила гнев на милость: в конце концов, это ведь старая история, а она, Э., моя *нынешняя* возлюбленная. Она вытеснила Аглаю.

Вечер еще не кончился, а Э. даже сделала Аглае комплимент:

– Какая же она красивая, по-настоящему красивая!

Когда мы с Аглаей разговаривали, Э. находилась от нее на расстоянии каких-нибудь сорока футов и как следует ее изучила: какая у нее шляпка, платье, туфли.

– Она еще совсем ребенок, наивное дитя. Какое право ты имеешь обращаться с ней так жестоко, так безжалостно?

– Стало быть, ты ей сочувствуешь, не так ли? – съязвил я. – Настолько, что готова бросить меня ради нее?

Назревал скандал. Мы ссорились, не выбирая выражений, но так ни к чему и не пришли.

И Аглая тоже видела меня с Э. Мы ехали по Бродвею на малолитражном автомобиле, который Э. недавно приобрела и который виртуозно водила. Аглая же сидела в такси, недолго ехала за нами, а потом свернула на 157-ю улицу. Но за это время успела как следует рассмотреть Э., и, когда мы встретились в следующий раз, завела разговор о новых увлечениях. В кого это я теперь влюбился? Очередная девица? Влюбился без памяти? И когда я заверил Аглаю, что и не думал влюбляться, она меня высмеяла:

– Ну какой же ты врунишка! Я что же, хуже всех? Или лучше всех? Разве ты не знаешь, что от меня ничего не скроешь? Сколько раз я тебе это доказывала!

После чего заговорила об Э., которую описала так же точно, как Э. описала ее. И наш автомобиль! И в котором часу это было! И все прочее. А я не расскажу ей об Э.? Если расскажу, она не станет мне о ней напоминать.

И ведь правда доказывала, и не раз! Кто такая эта Э.? Давно ли я ее знаю? Откуда она взялась? По тому, как я вел себя в машине, она поняла, что я очень ею увлечен. Она обаятельная? Богатая? Это ее собственный автомобиль? Водитель она хороший, в этом ей не откажешь. Куда мы ехали? В Лонгвью? На Э. была желтая шляпа и серый брючный костюм. Что ж, мы недурно смотрелись, вот только Э. (тогда Аглая еще не знала, как ее зовут) такая крошка. Что ж, у маленьких женщин (она рассмеялась) своя прелесть. Нашему молодцу все к лицу!

Я начал немного сердиться, дал ей это понять, и Аглая взяла себя в руки.

– Сердишься? Не сердись, любимый. Я не хотела тебя задеть. Не смогла сдержаться, это ведь очень нелегко, когда любишь так, как я.

И при всем своем смирении дала мне понять, как она ущемлена. Я стиснул ее в объятиях и принялся объяснять и даже настаивать, что при всем желании не способен быть один, хотя, если б она только захотела, могла бы остаться той, кем была всегда, – самой мне дорогой и близкой.

Не знаю, поверила она мне или нет, но со мной не рассталась. В тот день мы долго молча сидели рядом в большом кресле; я думал о том, как же жестока и загадочна жизнь, Аглая... не знаю, о чем в эти минуты думала Аглая, видно было только одно: она меня по-прежнему любит. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за возлюбленных своих!»

Я часто задавал Создателю вопрос о смысле, мудрости подобных изречений в отношении человека как такового и меня как типичного образца многих мужчин и женщин. К какой любви призывает святой Иоанн?^[4]

Каждые два-три месяца у меня появлялась очередная Вильма или кто-то вроде нее – веселая, разбитная, уверенная в себе, независимая; появлялась на вечеринке или на званом обеде, обращала на себя внимание бурным темпераментом, броскими нарядами, ладной фигурой. А ведь имелись еще и другие, те, что были у меня до нее.

С этими «другими» мне, понятное дело, тоже не хотелось расставаться. Все вместе они составляли тот развеселый круг, в котором я вращался, встав из-за письменного стола, за которым ежедневно просиживал много часов.

Бесполезно говорить, хоть многие это и делают, что такого рода мимолетных знакомств следует избегать, что подобные существа в нравственном и социальном отношении являются людьми невысокого полета и от них следует держаться подальше.

Что ж, допустим. И общество может, если захочет, по праву сильного этих безнравственных существ отторгнуть. И меня заодно.

В отношении себя и других важно отметить, что эти многоликие персонажи, несмотря ни на что, существуют и подвержены общественному порицанию – или одобрению. Как с этим быть – вопрос не ко мне; я лишь описываю, что происходит (или происходило) в моем случае.

Обратимся к одному или двум наиболее характерным персонажам из тех, о ком идет речь.

Однажды утром – кажется, это было в июле, как раз когда я разрывался между Аглаей и Э., – в мою студию на 10-й улице явилась обвешанная драгоценностями куколка. Как ее зовут и откуда она, я не запомнил. Кажется – из Торонто.

Когда она назвалась, я сообразил, что ее имя упоминалось в связи с бессмысленными, быстро нажитыми и столь же быстро спущенными американскими миллионами. (Спустя годы о ней писали газеты в связи с полумиллионной кражей драгоценностей, которую долгое время не могли раскрыть.)

И вот эта куколка в моей квартире. Миниатюрная блондинка лет на пятнадцать моложе меня, голубые глаза, розовое детское личико, под окном ее автомобиль – чудо техники. Только что от парикмахера, массажиста и портнихи. Я сидел за столом, а она вертелась передо мной, демонстрируя обворожительные стати.

Не мог бы я оторваться от рукописи и с ней поговорить? Она только что из Торонто, бог весть откуда, и у нее ко мне «дельце». Чтобы доставить ей удовольствие, я перешел в соседнюю комнату и сел на стул, она же, даже не подумав спросить разрешения, сбросила на пол с дивана несколько подушек и, широко улыбаясь и не спуская с меня глаз, улеглась на них, положив ногу на ногу.

Ослепительные солнечные лучи падали на ее золотистые волосы и личико, на обтянутые шелком, открытые до колен изящные ножки, на туфли-лодочки и подвязки. Обвешанная драгоценностями куколка, иначе не скажешь.

Она, по ее словам, не только богата и пользуется успехом, но вдобавок разведена и владеет яхтой. Эдакая Антигона, что живет между 23-й улицей и Ист-Ривер. В сентябре и октябре собирается на яхте в Грецию, зимой – путешествовать по Нилу. Не составлю ли я ей компанию? Огромные голубые глаза призывно сверкают, густо накрашенный ротик расплывается в обворожительной улыбке.

– Но ведь я вижу вас первый раз в жизни, – сказал я.

– Зато я вас видела, и не раз. И читала ваши книги. Что ж, я вас понимаю. Вы мне не верите? Вам недостаточно на меня посмотреть?

– Нет, отчего же, верю. Верю до известной степени. Но Греция? Боже милостивый, я ведь только на середине книги!

– Но вы же можете творить и на яхте, разве нет? Там все будет в вашем распоряжении.

Экая простодушная куколка из Торонто, подумал я. И ответил:

– Превосходно! Когда вы вот так лежите на подушках, вы неподражаемы. Но неужели вы не понимаете, как мне непросто решиться на ваше предложение? Не предупредив заранее, вы являетесь ко мне – и я должен плыть с вами в Грецию! А как быть с моей здешней жизнью? С моими связями? Привязанностями? Может же у меня быть кто-то, к кому я неравнодушен? Как мне поступить?

– В самом деле? У вас кто-то есть? Правда?

– Почему бы и нет? Вы что же, думаете, я не способен никем увлечься?

– Конечно, можете! Безусловно! Но вы производите впечатление такого свободного человека. Да и в ваших книгах, мне казалось...

– В моих книгах я всегда свободен. Свободен и одинок, предоставлен самому себе. Должен же у меня кто-то быть. Кроме того, я писатель и этим зарабатываю на жизнь. Поэтому моя работа, хотите верьте, хотите нет, для меня главное!

Я улыбнулся, когда она положила голову мне на колени.

– И тем не менее я могла бы сделать для вас не меньше любой другой, а может, и больше. Чем я хуже других?

Прелестная... умная... яхта. Я погладил ее по руке.

– Послушайте, у меня есть важные дела, есть связи, которые не так-то легко порвать. – Она сникла. – Но если вы пробудете здесь еще несколько месяцев, то очень может быть...

– Несколько месяцев? Тоже скажете! Думаете, у меня своих дел нет? – В ее голосе послышались ледяные нотки.

– Но, моя дорогая, вы ведь даже мне не написали, – стал убеждать ее я. – Свалились, как снег на голову, жарким июльским днем... право же...

– Я знаю, – сказала она и вдруг сделалась совершенно серьезной. – Какая же я дура. Но понимаете, я читала ваши книги. Сама не знаю... Я подумала: а что, если...

– Да, понимаю, – сказал я. – Но ведь мы можем быть друзьями, не правда ли?

– О да, конечно.

Она встала, как будто с облегчением. Очередное поражение, еще одна несбывшаяся мечта. Как же причудливо устроено человеческое сердце, подумал я. Кому по силам объяснить его причуды, взывать к нему? С какой-то неудержимой грустью я проводил ее глазами. А все это моя распрекрасная работа, будь она неладна! Кому-то мои книги, однако ж, пришлись по душе. Такой шанс, как этот, может постучаться в мою дверь, войти – а потом бесследно исчезнуть.

Когда мне теперь представится возможность поплыть на яхте в Грецию? В этот погожий летний день из-за чего-то, что я написал, возникает невесть откуда эта женщина, а с ней яхта, путешествие в Грецию и в Египет. Я же, словно все это какой-то пустяк, от нее, не задумавшись, отмахнулся. Я чуть было не ущипнул себя, чтобы убедиться, что все это мне не приснилось. Да нет, вот моя студия на первом этаже, напротив конюшни, стою в гостиной (а всему виной моя неисправимая гордыня или, если хотите, непомерное тщеславие).

И не она одна! Есть ведь и другие, много других. Где-то здесь моя записная книжка, куда я записываю, что со мной происходит день за днем. Моя жизнь представлялась мне такой странной.

Зачем же мне еще одна? Подобных предложений было у меня сколько угодно – реальных и выдуманных, состоявшихся или только намечаемых; предложений, исходивших от меня и от моих подруг, чьи имена и внешность мне теперь и не вспомнить.

И вместе с тем в этом калейдоскопе событий и увлечений чувства мои к Аглае оставались неизменно сильными, она вызывала у меня восхищение, граничившее с любовью. Иной раз она довольствовалась общением, что называется, на бегу. Дней, когда мы встречались

урывками, на час-другой, лишь бы ненадолго быть вместе, было наперечет. Каких только усилий она не прикладывала для встречи со мной! Помню, как однажды, поссорившись сразу с тремя подругами, измучившись от нескончаемых телефонных звонков, телеграмм и писем, обидных, горьких, своенравных, отчего можно было сойти с ума, я все бросил и поспешил к ней, стал ее разыскивать. По всей вероятности, она была в Стоуни-Коув – я позвонил и услышал в трубке ее вкрадчивый голосок.

– Могу приехать? – спросил я.

– Конечно, почему бы и нет. Останешься на выходные?

– Да.

– Как же я рада. Замечательно! – И она принялась планировать, что мы будем делать.

И я отправился в Стоуни-Коув. Последний раз я видел ее несколько недель назад. Стоя рядом с ней на веранде, откуда открывался прекрасный вид на раскинувшееся внизу поле и редкий лес за ним, я размышлял вслух о моих горестях.

– Черт возьми! Как мне быть? Что делать?

И Аглая, склонившись ко мне, прошептала:

– В чем дело, любимый? Они на тебя сердятся, потому что ты не можешь любить их всех одновременно?

– Аглая, ты ведьма.

– А то я не знаю. У тебя какие-то неурядицы, любимый? Я же чувствую.

– Да, неурядицы, – вынужден был признать я.

– Не беспокойся, никто из них не страдает так, как я. И если я справлюсь со своими страданиями, то справятся и они. Не бойся, они тебя не бросят, поверь. И я даже не хочу, чтобы они тебя бросили, раз тебе с ними хорошо.

И поскольку никого рядом не было, она наклонилась и поцеловала меня в лоб, а я пожал ей руку. Она разогнала нависшие надо мной тучи.

Где мы только с ней в те дни не встречались! В моей квартире, в отелях, в придорожных гостиницах, в экзотических, хотя и довольно сомнительных, ресторанах. И от нее всегда исходила истинная, незапятнанная, страстная любовь – любовь, доходящая до экстаза.

Однажды она уехала на целый год: побывала в России, Италии, Франции, Германии. Уехала с родителями – поправить здоровье матери. Сколько же писем получил я от нее за этот год! И телеграмм! Письма, фотографии, стихи, признания в любви. «Ах, мой любимый, как жаль, что тебя нет со мной! Как здесь красиво!» Помню, как однажды, только Аглая вернулась из Европы, она пришла ко мне и обнаружила у меня другую женщину.

Разумеется, в тот день я Аглаю не ждал. И хотя мне не следовало ее впускать, я все же открыл ей дверь в надежде, что она все поймет, уйдет, и мы встретимся вечером за ужином. Но, к сожалению, на стуле в холле лежали женская шляпка, пальто, сумочка и перчатки, на которые я не обратил внимания, а она заметила сразу и расплакалась.

– Аглая, почему ты плачешь? Что с тобой, любимая?

– Неважно. Лучше б я не приходила.

– Ты решила, что у меня кто-то есть?

– Решила? – И она показала на стул.

Пришлось во всем признаться, но упреков не последовало.

– Давай встретимся в шесть или в семь, хорошо? – только и сказала она. – А то сейчас мне не по себе. Как же глупо, что я пришла. Говорила же себе: не ходи. – И с этими словами она, нахмурившись, вышла за дверь.

Вот как вкратце обстояло дело. Я попытался набросать образ Аглаи и ее отношение к жизни. Но как? Человеческий характер столь же переменчив и непредсказуем, как море. Читатель может подумать, например, что Аглая бесхарактерна, не способна сердиться, постоять за себя.

И в то же самое время вот вам впечатляющий пример ее вспыльчивости, обидчивости. Однажды летним вечером мы решили отправиться в Гринвич-Виллидж на фиесту.

Проходила фиеста в Вашингтон-Мьюз. Праздник был в полном разгаре: флаги, яркие фонари, уличные музыканты в костюмах Пьеро и Пьеретты, киоски, цыганские гадалки, а на импровизированных балконах еда и выпивка. Некоторое время мы с Аглаей бродили по улицам и, наконец, решили сесть в одном из ресторанчиков на балконе.

Напротив нас сидели две девицы – как видно, ждали своих ухажеров. Были они немного моложе Аглаи – живые соблазнительные красотки. Как и все молодые девушки, они вертелись во все стороны,

чтобы произвести впечатление. Я изучил их без особого интереса: в тот вечер для меня не было никого прелестнее Аглаи в бело-синем шелковом платье с оборками и в соломенной шляпке набекрень с голубым цветком, вдетым в тулью.

Когда мы пробирались в толпе в ресторан, я сказал ей, как она хороша. Стоило нам, однако, подняться на балкон, где сидели эти две девицы, которых я окинул более чем равнодушным взглядом, как Аглая вдруг побледнела, в ее кротком взоре сверкнул, точно молния, гнев, она отодвинула стул и встала.

– Аглая!

– Я здесь не останусь!

И с этими словами она бросилась бежать вниз по лестнице, я – за ней. На улице я догнал ее и схватил за руку.

– Дорогая, что с тобой? Ради бога, что случилось? Послушай, куда ты? Объясни! Скажи хоть слово! Не убегай, что я сделал? Скажи, что я такого сделал?

– Ах, не разговаривай со мной, пожалуйста! Оставь меня в покое, понятно? Отпусти меня, слышишь? – И она сбросила мою руку, которой я с такой нежностью ее обнимал. – Я все видела, я еду домой, и все!

– Что ты видела? Где? Ты что, с ума сошла? Или это я помешался? Смотреть на тебя было такое наслаждение. Нет, правда, я ничего не понимаю. Пожалуйста, пожалуйста, объясни же, что случилось. Приди, наконец, в себя.

– Я тебя неплохо изучила. – Она сверкнула глазами. – Надо же было привести меня в ресторан, где тебя все знают. Я с ним сижу, а он всем кругом расточает улыбки! Боже, как же я иногда тебя ненавижу! Да, ненавижу!

– Аглая!

– Не обращай ко мне! Ты бессердечный, недобрый человек. Только о себе и думаешь. Не разговаривай со мной! Отпусти меня! Я хочу уйти. Больше я сюда никогда не вернусь. Никогда, слышишь!

– Аглая, ради бога! О ком ты говоришь? Об этих двух девицах на балконе? Боже, какой вздор! Клянусь, я посмотрел на них мельком, не больше одного-двух раз. О том же, чтобы с ними заигрывать...

– Не лги! Не смей лгать! Я все видела. У меня что, глаз нет?

– Любимая, прошу тебя! Умоляю, выслушай меня, я говорю чистую правду.

– Это ты-то говоришь чистую правду? Не смеши меня!

Последовало долгое выяснение отношений, и кончилось тем, что разозлился и я тоже. Потом – слезы. Когда она сидела в такси в моих объятиях, мне, в конце концов, удалось убедить ее, что я ее люблю, и я был прощен – прощен за то, чего не делал. А ведь не раз бывало, с радостью вспомнил я, что заслуживал упреки похуже, но выходил сухим из воды.

Подумать только! После всего, что я натворил в прошлом, – и вызвать такой гнев, ни в чем не провинившись. Бывало, не сделаешь ей ничего плохого, а она даже на тебя не посмотрит, не улыбнется. Полагаю, что и теперь, хотя прошло столько времени, в глазах Аглаи я преступник. Смех да и только! Поразительно! Повесьте меня, если я говорю неправду.

А ведь я не сделал ничего дурного, разве что машинально улыбнулся владельцу ресторана и официантам, стоявшим за открытой дверью, за спиной этих двух девиц. Иного объяснения у меня нет. Но разве можно меня за это винить? Провидению, судьбе ничего не стоит вздернуть вас на виселице за то, чего вы не делали!

И еще два-три похожих случая. Наступил день, когда я уехал из Нью-Йорка. В мое отсутствие Аглая устроилась танцевать в знаменитом столичном ревю. И хотя она по-прежнему каждый день писала мне, и весной следующего года мы, как обычно, договорились встретиться, я чувствовал, что она больше не верит, что мы когда-нибудь опять увидимся, боится, что я покинул ее навсегда.

И все же следующей осенью, когда ей предстояло сыграть роль примы в чикагской постановке прогремевшей летом музыкальной комедии, она от этой роли отказалась, потому что, поговорив со мной, убедилась, что всю зиму я проработаю в Нью-Йорке. Тогда ей было еще невдомек, что у меня появилась другая женщина.

С этой «другой» я проводил столько времени и той зимой, и следующие два года, что мне было не до Аглаи, ей же оставалось утешаться многочисленными ангажементами и разъезжать с концертами из города в город. Я приезжал к ней в Денвер, Миннеаполис и Оттаву и ходил на ее выступления – молчаливый свидетель ее несравненного поэтического и артистического дарования.

Встречаясь, мы тешили себя безумными планами когда-нибудь воссоединиться навсегда и уж больше ни за что не расставаться. И то сказать: стоило мне встретиться с Аглаей глазами, ощутить всю широту и мудрость ее души, как я готов был поверить всему на свете, даже нашему с ней вечному союзу.

И тут, откуда ни возьмись, явилась... назовем ее Цитерией. Солнечный сентябрьский день. Звонок в дверь моей скрипучей пыльной студии. И в дверях она: Лилит, Сирена, рейнская русалка, ирландская банши^[5]. Стоит в дверях и улыбается. И как улыбается! Более загадочной улыбки не было даже у Пана в постановке мистера Зигфелда^[6]. Чего только не было в этой безумной улыбке! Самые смелые желания, самые дерзкие мечты и видения, что пенятся в гигантских, искрометных волнах воображения.

Поедем в Мексику! Поедем в Испанию! Поедем в Голливуд! На край света! И, не говоря друг другу ни слова, без всяких объяснений, мы, точно во сне, спешно укладывали чемоданы и мчались на пароход, отплывавший в Новый Орлеан, в Панаму, на Западное побережье.

Ах, эти золотые дни и серебряные ночи! Только раз в жизни тебя охватывает невиданная лихорадка, которой рассудок поддается меньше, чем плоть; нечто, что теряется в ослепительных солнечных лучах, ураганном ветре и искрящихся водах, в которых перед нашими кораблями несутся косяки плавучих рыб.

Но Аглая! После полугода безумия и мечтаний я написал ей всего один раз, а она мне – много раз, и каждый раз говорила, что «все понимает». Что я разбиваю ей сердце. Что она была вынуждена, чтобы не умереть, вернуться на сцену. Ах как же она несчастна! Горькая ирония судьбы: ей досталась роль девушки, которой возлюбленный сначала пренебрегает, но потом, в финале, к ней возвращается. «Она-то завоевала его сердце, – писала она, – а вот в жизни, боюсь, так не бывает. Мне – не судьба. Иногда я пою и плачу».

Но и потом я получал от нее массу писем. И в одном из них – известие о смерти ее отца, любимого, любимого папочки. «Ах, его больше нет на этом свете! А ведь он был еще так молод!» В этих ее письмах, в ее словах звучали горькие рыдания.

За два дня до смерти он, оказывается, спрашивал про меня, говорил: «Твой старик отец все знает. Давно знал. Я прошел через все это. Но ты еще будешь счастлива. Ты заслужила».

А в ночь перед смертью, буквально в последнюю минуту, он, по ее словам, вдруг поднял руки, словно хотел кого-то или что-то подхватить, и улыбнулся. «И я знаю, – написала она мне, – он что-то увидел, что-то красивое. Да, знаю, так и было. Мой дорогой папочка! Надеюсь, что это был рай, ведь если только рай существует, он его заслужил».

Я знал Мартынова, любил его и с ней согласился. Большой души человек, слишком большой для этого приземленного мира. Истинный северянин, открытый и непосредственный. После смерти мужа Женя совершенно рухнула, много месяцев болела, потом переехала к Аглае.

«Ах, мой любимый, – писала мне Аглая, – ты мне так нужен! Как же мне без тебя плохо! Что такое жизнь без любви? А ведь жизнь так коротка».

Мы же с Цитерией были неразлучны, я был в нее влюблен не меньше, чем в свое время в Аглаю или в любую другую. А она, счастливая, распевала веселые песенки, радовалась жизни и в своих иступленных, безумных желаниях шла навстречу судьбе.

Какие только письма она не получала! Кто-то, кто обожал ее не меньше, чем она обожала меня, писал ей слезные послания, умолял к нему вернуться. Мы же с ней, точно в разразившуюся бурю, из последних сил прижимались друг к другу, веселясь и в то же время страшась подумать о том, что с нами будет.

Прошло еще полгода, и Аглая написала мне, что у нее хорошая новость: ее театр едет с гастролями на Западное побережье. Я буду там? Может, встретимся в Ванкувере или, скажем, в Сиэтле и отправимся вместе на юг? Я мог бы поехать ей навстречу? А может, встретимся на полдороге, в Сан-Франциско, – все ведь так сложно. Писем и телеграмм с приближением ее отъезда становилось все больше, приходили они не на мой адрес, а до востребования. «Жду не дождусь! – писала она. – Как было бы замечательно!»

И в самом деле, можно было бы ухитриться встретиться, провести вместе хотя бы дней пять. Не постарела ли она? Как она танцует – так же божественно, как и раньше? Но наши отношения были обречены: моя любовь к ней осталась в прошлом, любовь же к Цитерии была в настоящем, я был ей предан всем сердцем. К тому же мы с Аглаей так давно не виделись и уже вряд ли увидимся. Право же, встретиться

вновь было бы ошибкой. И в то же время счастьем для нас обоих. Счастье ведь бывает разным.

А потом было путешествие на юг, но не вместе, это было невозможно из-за ее дел, друзей, выступлений, всего прочего. На юге Цитерия вновь предъявила на меня свои права, я же мучился преследовавшими меня предчувствиями.

Где я был все это время? – недоумевала Цитерия. Неужели в кого-то влюбился? Мог ее бросить? Неужели нашей райской жизни пришел конец? Пришлось ей долго все объяснять. Я должен увидеть свою прежнюю любовь. Хотя бы еще раз. И не надо по этому поводу отчаиваться.

Мы с Цитерией в очередной раз помирились, мы вновь были счастливы. Катались на машине по прибрежным ресторанчикам, развлекались по-голливудски.

Я чувствовал: Аглая что-то подозревает, что-то против меня затаила. Однажды мы провели вечер вместе и договорились встретиться снова, но наше свидание не состоялось. За день до него мне не удалось помешать ее встрече с Цитерией, они столкнулись лицом к лицу в голливудском ресторане – ничего хуже быть не могло.

Находился ресторан в горах, к западу от бульвара Сансет, в экзотическом глухом месте. И какой же это был вечер! Как нарочно! Каждый, кто хотя бы раз побывал в кинематографической столице Америки, знает, что такое невесомость воздуха, безбрежность усыпанного звездами неба, терпкий аромат перцев и акаций. А еще – беспечность жителей этих мест, похожих скорее на призраков из сновидений, чем на людей из плоти и крови.

Когда мы с Цитерией вошли в ресторан, то увидели сидевших за столиком Аглаю и ее приятельницу из театра. Цитерия шла покачиваясь, как во сне. Вся в белом: белое шерстяное платье, шерстяной берет с помпонами, белые туфли и чулки, белая горжетка из лисьего меха. Аглая была в зеленом и белом – прелестна, как всегда. Но видели бы вы, *каким* взглядом она пронзила Цитерию, не помышлявшую в эти минуты ни о чем плохом. Было ясно: суть наших с Цитерией отношений не оставляет у Аглаи никаких сомнений. Перед ней была соперница, источник всех ее бед и страданий. Та, что увела меня у нее, не отпускала меня к ней.

Что-то, возможно, было в походке Цитерии, в ее голосе, смехе – но спустя мгновение, не глядя на нас, Аглая и ее спутница встали и вышли из ресторана. Проходя мимо, Аглая отвернулась, чтобы меня не видеть.

Я понял, что произошло, понял, что никогда ее больше не увижу. Почувствовал это. Кого-кого, а Цитерию она мне не простит, это уж чересчур. Наконец это произошло: она рассталась со мной, поступила правильно и мудро. Сказать мне после стольких лет нашей близости было нечего.

А Цитерия не замолкала ни на минуту, беззаботно верещала о том, какой сегодня чудесный вечер и как она счастлива. Ах, нам обязательно надо будет это сделать, обязательно туда поехать. Я же предавался грустным, мрачным мыслям о том, что хорошо, что плохо, что можно простить, чего нельзя, что нуждается в поощрении, а что в наказании. В конце концов, Цитерия поинтересовалась, не случилось ли чего.

Назавтра я отправился туда, где мы договорились с Аглаей встретиться, но ее там, как я и предполагал, не оказалось. И искать ее не имело смысла. Исправить положение было невозможно, и я это чувствовал. Спустя месяц я прочел, что она покидает сцену, а еще через год – что выходит замуж.

С ее способностью говорить на нескольких языках, с ее музыкальными талантами, с ее достоинством, тактом, обаянием она наверняка могла бы стать хозяйкой литературного салона, окружила бы себя яркими, интересными людьми. Но нет, для нее не было ничего важнее семьи, и через пять лет я узнал, что у нее двое детей, которым она себя полностью посвятила.

И все же я и сегодня знаю, что Аглая остается той, кем была со мной, – любящей, все понимающей, прощающей. Да, знаю. И в нашей с ней памяти мы до сих пор вместе, мы идем рука об руку. Наши сердца бьются в унисон, и мы никогда не забудем те сказочные минуты, часы, дни, что принадлежали нам.

Радость, красота бессмертны. Они полнятся вечной энергией жизни, а не ее переменчивыми, недолговечными материальными формами, какими они нам ненадолго являются.

История Элизабет



Долгие годы я размышлял над тем, как лучше всего описать читателю характер Элизабет, чтобы не исказить ее разнообразных интригующих черт, и, боюсь, до сих пор не нашел ответ на этот вопрос.

Ее отличали красота, живость, прямоту; красота и сила ума, равно как и тела. Есть люди такого умственного и эмоционального размаха, что, описывая их, не знаешь, с чего начать.

Как часто, вспоминая ее, я вспоминаю Порцию, уравновешенность и непредубежденность ее ума. Когда вспоминаю ее красоту, я вновь оказываюсь в затруднении, ведь так легко преувеличить, так трудно отдать истинную справедливость красоте, что подобна натянутой тетиве.

Своим лицом, фигурой она походила на Диану с полумесяцем в волосах. При этом Элизабет была очень невелика ростом: крошечное существо, которое, находясь в полном здравии, весило не больше ста – ста десяти фунтов.

Есть мнение, что чем больше весит мозг, тем выше умственные способности. Вздор! Если судить по Элизабет, то вес мозга и интеллект никак между собой не связаны. Возможно, размеры мозга необходимы для чтения, образования, составления разного рода сложных таблиц. Не знаю. Но чтобы от размера мозга зависела интуиция? Наше восприятие? Да никогда в жизни! Элизабет отличалась интуицией, присущей лучшим умам, интеллектуальной искренностью и смелостью людей самых выдающихся. Если судить по размеру ее головы, ее мозг должен был весить совсем немного. Но ведь мысли формируются не в мозгу, а в крови, и пользуются мозгом, как мы пользуемся бухгалтерией.

Но я отвлекся. Впервые я увидел ее после бурной, продолжавшейся больше года переписки. После выхода в свет очередной моей книги она рискнула подвергнуть ее критике, причем довольно резкой, хотя впоследствии и призналась, что резкость ее суждений была вызвана желанием бросить мне вызов, принудить к ответу. Когда же я на ее критику ответил, причем, насколько я помню, не выбирая выражений, она пустилась в объяснения. Завязалась переписка, и о себе она писала вещи такие оригинальные, такие запоминающиеся, что привела меня в восторг.

Она писала мне о дереве у ручья, куда она еще девочкой, когда у нее возникали неприятности, не раз приходила помечтать, набраться сил, поднять себе настроение. Эту мою книгу она читала, сидя под этим деревом у ручья, а потом прижимала ее к сердцу.

Это была *ее* книга, писала она мне, и не потому, что она хорошо написана, а потому, что учила ее жизни и любви. Сидя под деревом, она с ней разговаривала, клялась ей в верности. Кто бы ни был ее автор, она сделает все, что он пожелает. «Но только не подумайте, – добавляла она, – что я – увядший цветок или что лишена недостатков и не имею собственного мнения. У меня есть молодость, красота, деньги, есть даже невинность в том смысле, как ее принято понимать. У меня есть все, что вам бы понравилось, и даже больше, и я многое знаю про вас, знаю, как вы выглядите, и все прочее. Я не пожалела времени и сил все это выяснить».

В одно из писем была вложена ее фотография, поражавшая воображение молодостью, красотой, умом и энергией. Признаться, я был удивлен, что девушка *такого* обаяния, такой энергии может писать *такие* письма.

Но, несмотря на все это, а также потому, что нашей встречи, безусловно, хотели мы оба, я дал ей в ответном письме ясно понять – меня так просто не возьмешь. В этом мире я не один. Отнюдь! И впутываться в пустую интрижку я не испытываю ни малейшего желания. Тем не менее мы договорились, что она приедет, и в мае, через год после ее первого письма, я поехал на вокзал ее встретить.

Боюсь, мне не передать то радостное чувство, какое я испытал, увидев ее. Прелестные личико и фигурка. Она вся, с ног до головы, дышала молодостью, свежестью, любовью.

Спустившись на платформу, она огляделась по сторонам, и я сразу же обратил внимание, что у нее, при ее крошечном росте, неторопливая, степенная походка – трудно сказать, искусственная или естественная. (Она всегда настаивала, что естественная.) И походка эта как нельзя лучше соответствовала хорошо скроенному, похожему на мужской серому костюму, в котором она была тем утром. Я заметил, что глаза у нее большие, круглые и какие-то тускло-голубые, кожа свежая, розовая и нежная, как у ребенка, – никакой косметики и минимум пудры. Волосы густые, блестящие, светло-каштановые.

Я было заулыбался при виде столь миниатюрного создания, ее крошечных ручек и ножек, но поймал на себе ее насмешливый, недоуменный взгляд, будто она чем-то разочарована, недовольна.

– А вы, оказывается, совсем другой! – воскликнула она, подавшись назад и окидывая меня холодным взглядом. – Я вас представляла совсем иначе.

– Вот как? – Столь резкая оценка вывела меня из себя. – Реальный образ, стало быть, уступает воображаемому? Что ж, прекрасно. Позвольте мне вызвать вам такси. В какой гостинице вы остановились?

– Я думала, вы старше, – продолжала она, не обратив внимания на мои слова и окинув меня острым, как скальпель, взглядом. – Думала, что человек вы более уравновешенный.

– Жаль, очень жаль, – сказал я, просто чтобы что-то сказать. – Но я исправлюсь. Не будем ссориться. Я готов даже, прежде чем мы расстанемся, предложить вам чашку чая.

– Ах, не сходите с ума! Терпеть не могу моложавых мужчин, да и мужчины с повадками профессоров мне тоже не по душе.

– Вы хотите сказать, что я похож на профессора? Это уж слишком, я ухожу!

– Погодите! – В ее голосе слышались издевательские нотки. – Отчего же, с удовольствием выпью чаю. А в вас действительно есть что-то от профессора, я представляла вас совсем другим. Не сердитесь.

– С меня хватит, – сказал я. – Вам не нравится, как я выгляжу? Очень хорошо! Мы выпьем чаю и на том покончим. Но мне бы не хотелось выслушивать ваши рассуждения о профессорах и моей внешности.

Я не на шутку разозлился и решил поэтому как можно быстрее ее спровадить. Она меж тем продолжала идти рядом, как будто ничего не

произошло. Нельзя было не заметить ее уверенности в себе, степенной походки, прекрасного настроения, самодовольного вида. Похоже, она ни на минуту не сомневалась в своем неподдельном шарме и преисполнилась решимости продемонстрировать его на деле.

– Когда мы познакомимся поближе, это пройдет, – сказала она, продолжая идти не останавливаясь.

– Что пройдет? – поинтересовался я. – И с чего вы взяли, что мы познакомимся поближе?

– Сама не знаю, – отозвалась она, когда мы вошли в ресторан и я, отодвинув стул, ее усадил. – Только, пожалуйста, не сердитесь. Не так уж я от вас отличаюсь, если правильно понимаю то, что вы пишете. Вам нужна красота. Как и всякому мужчине.

– Вздор! – Я взорвался. – Я здесь не для того, чтобы рассуждать о моих книгах. И я не просил вас писать мне письма, это была ваша инициатива. Не будьте такой самоуверенной.

– Я знаю, что не просили. – И она очень мило заулыбалась. – Пожалуйста, не сердитесь. Вы похожи на большого неуклюжего медведя. Да и воспитаны ничуть не лучше, сразу видно. Садитесь и успокойтесь. У меня есть соображения, которые, думаю, вам пригодятся. Очень может быть, я смогу вам чем-нибудь помочь. Я ведь красивая, правда? Вижу это по вашим глазам. В любом случае мы можем стать друзьями.

– Вы так считаете? Мне кажется, что для женщины, которая собирается со мной подружиться, вы могли бы держаться скромнее. Что же касается моего возраста и уравновешенности – что ж, не могу не радоваться, что я не такой уж дряхлый. Вы первая женщина, которая пожаловалась, что я молодо выгляжу.

– Не сердитесь же, прошу вас! И не уходите. Знаете, я придумала вам прекрасное имя: вы Мед, Медведь Косолапый. – И она состроила кокетливую гримасу, обнажив острые зубки. Что-то было в ней невозмутимое и в то же время неистовое, дерзкое.

– Что ж, хорошо, – сказал я, садясь, она же продолжала изучать меня с ног до головы неторопливым внимательным взглядом.

– Боже, вы смотрите на меня так, будто собираетесь съесть! – воскликнул я.

– Не так уж вы аппетитны.

– Спасибо за очередной комплимент.

Она продолжала на меня смотреть – сначала неодобрительно, потом более дружелюбно.

– Только не думайте, что меня так легко обидеть, – добавил я. – Таких, как вы, я неплохо изучил. Вы слишком полагаетесь на свое обаяние.

– Вы все еще сердитесь? Что ж, простите меня, я виновата. Что я себе позволяю? С таким, как вы! Автором *такой* книги!

– Незачем любить меня за какую-то там книгу, или за то, кто я, или за что-то еще. Либо я нравлюсь вам сам по себе, либо не нравлюсь совсем. Я-то думал, что вы не такая, как все. А теперь вижу, что ничем от других не отличается.

– О боже! Перестаньте, слышите! – Теперь она говорила гораздо мягче и совершенно переменилась, в ее голосе зазвучали теплые, трогательные, проникновенные нотки. – Я так нескладно себя повела, мне так стыдно. Знали бы вы, как мне хотелось с самого начала произвести на вас впечатление! Если б вы только знали! Если б знали, что я на самом деле чувствовала, что думала!

И она устремила на меня взгляд своих огромных светло-голубых глаз. Такой взгляд, нежный, сочувствующий, благодарный, бывает только у по-настоящему сильных и умных женщин. А потом перегнулась через стол и положила свою крохотную ручку на мою.

– Пожалуйста, Мед, возьмите меня за руку, – попросила она. – Пожалуйста. Вы даже не представляете, как мне важно, чтобы вы взяли меня за руку. Пожалуйста, Мед, уважьте просьбу маленького бедного медвежонка.

Я взял ее за руку и взгляделся в ее ангельский, ионический лик. Какие только имена не вспомнились мне в эту минуту – имена, что ассоциируются с красотой Древней Греции: Ио и Белый Бык, Сапфо, Даная, Цирцея!

– Не расскажете мне что-нибудь о себе? – спросил я, стараясь вновь обрести почву под ногами. Я был смущен, сбит с толку.

– Нет, не сейчас, не хочу сейчас говорить о себе. И не просите. Сейчас мне это неинтересно. Мне хочется совсем другого. Хочется думать о Нью-Йорке, о вас, о том, что происходит здесь и сейчас. Себе я неинтересна. Подруга сняла мне номер в «Марта Вашингтон», поеду туда, регистрируюсь. Сама не знаю, что на меня по дороге нашло. Да и у вас будет время подумать, что я собой представляю.

– Да? – с недовольным видом буркнул я.

– Но ведь мы встретимся за ужином, верно? – продолжала она. – Вы мне обещали.

– Да, встретимся. Но я вам ничего не обещал, и по тому, как вы себя ведете, мне показалось, что встречаться со мной вы не хотите.

– Что вы, вы ошибаетесь. Вы не понимаете. Я знаю, что повела себя глупо, но хочу, очень хочу вечером вас увидеть.

– Очень хорошо, раз так.

– Да, конечно, давайте пойдем сегодня вечером в ресторан. Мне в вас многое, очень многое нравится. Беда в том, что все это так странно, так неожиданно. – Она посмотрела на меня и теперь ее взгляд стал мягче, чем раньше, – пылливый и немного печальный.

Эта дружба ничем не кончится, подумал я, с ней попрощавшись. Она не умеет себя подать – беспечна, погружена в себя.

И тем не менее наша дружба началась в тот же день и какое-то время продолжалась. Несмотря ни на что, я увлекался ею все больше и больше и, хотя, когда мы в тот день расстались, подумывал отменить приглашение на ужин и вообще с ней порвать, не выходила у меня из головы. Было что-то необычайно притягательное в ее глазах, в ее поведении, в аппетитной фигурке, в пушке на щеках цвета персика, в блестящем завитке спадавших на глаза волос.

Вернувшись домой, я по-прежнему о ней размышлял, и тут зазвонил телефон, в трубке раздался ее голосок, и голосок этот мне понравился.

– Узнаете? Решила вам позвонить, вы же дали мне ваш адрес. Я ужасно себя вела, понимаете? Я вас обидела. Но я не нарочно. Пожалуйста, приходите ужинать, придете? Сама не знаю, что на меня нашло, я была совершенно не в себе. Но вы мне нравитесь, очень. Правда нравитесь. И если мы сегодня вместе поужинаем, я расскажу вам о себе. Пожалуйста, приходите! Обещаю с сегодняшнего вечера вести себя лучше.

– Очень хорошо, – сказал я. – Но почему вы решили, что я не приду?

– Что-то мне подсказывало, что, возможно, не придете. Да и потом, мне просто захотелось вам позвонить. Поделом мне будет, если не придете. Обожаю ваши книги. Честное слово! – Судя по голосу, говорила она искренне, от всей души.

– Очень хорошо, если только опять не передумаете.

– Поделом мне, – повторила она, – но я не передумаю. Простите, вы очень добры.

Она положила трубку, а я задумался: как же у людей меняется настроение. Мне пишет письма незнакомка, девушка, которую я в глаза не видел, восхищается моим умом, потом со мной встречается, говорит в лицо всякие гадости, после чего звонит по телефону и просит прощения. Нелегко мне с ней придется, вздыхая, думал я, переодеваясь к ужину.

Бывает, что время, место и женщина вместе взятые производят очень сильное впечатление. Именно это и произошло. На вокзале я заметил, что у нее довольно большой чемодан, и, когда мы встретились, понял почему. Разодета, как на картинке. Вся в серебристо-сером: и платье, и башмачки, и чулки, – и, под стать всему туалету, шляпка без полей.

Несмотря на склонность одеваться по последней моде, она была похожа на Мадонну, какой ее изображали итальянские живописцы в те минуты, когда она скорбит о наших заблудших душах. Или на строки из литании Пресвятой Деве Марии: «Башня из слоновой кости, молись о нас, Дом драгоценнейший...». Огромные светло-голубые глаза наполнились чисто детским изумлением. Замечу в этой связи, что у по-настоящему страстных женщин, каких довелось мне встречать, вид всегда был невероятно одухотворенный.

Мы отправились в модный в те годы ресторан; он пришелся ей по вкусу, и она с печальным видом принялась рассказывать о себе и при этом изредка исподлобья поглядывала на меня. Во время нашей беседы по телефону настроение у нее было приподнятое, вместе с тем нравом она, судя по всему, отличалась не слишком веселым.

Ее мир был так далек от моего, что удивительно, как нам удавалось находить общие темы для разговора. Она росла в атмосфере благополучия, устоявшихся вкусов и представлений, религиозных и нравственных запретов, тесных семейных связей.

Она, если ей верить, унаследовала огромное состояние своей тетки, старой девы, которая, умерев, доверила доставшееся племяннице наследство опекунам до тех пор, пока Элизабет не выйдет замуж или ей не исполнится тридцать лет. Вместе с двумя братьями и сестрой она также была наследницей своего отца, человека чистосердечного,

набожного, обладателя более полумиллиона долларов, доставшихся ему от его отца и приумноженного собственными стараниями.

Не стану говорить, к какой конфессии принадлежали ее родители и многие родственники, читатель догадается и сам. Как бы то ни было, ее жизнь протекала в жестких рамках сурового религиозного воспитания, прислуга и знакомые тщательно отбирались, равно как и частные школы, равноценные Колледжу Смита, Брин-Мору или Вассару, каковые, надо сказать, вызывали у ее родителей немалые опасения: как то пребывание в эти закрытых учебных заведениях скажется на нравственности их дочерей? Глава семейства не скрывал своего недовольства: обучение детей он считал уступкой низменным общественным вкусам и большой ошибкой. На его взгляд, а также на взгляд его окружения, девушки с их религиозными установками и традициями вполне могут довольствоваться домашним образованием.

Учась сначала в частной школе, а затем в колледже, Элизабет не слишком заботилась о том, чтобы постичь науки, и целыми днями запоем читала книги, о существовании которых еще совсем недавно даже не подозревала.

Не проучившись в колледже и двух лет, она из застенчивой пытливой девочки превратилась в молодую женщину, которая была, пожалуй, для своего возраста излишне хорошо образованна. Из книг она черпала все то, что не имело никакого отношения к тем понятиям и привычкам, которых придерживались в ее семье. Тогда-то у нее и появилось желание жить более открытой жизнью, чем та, которую она вела до сих пор.

По возвращении из колледжа она всерьез увлеклась французской литературой – Флобером, Мопассаном, Бодлером. У нее в комнате имелся небольшой сундук или ящик, доверху набитый самыми главными книгами тех авторов, что интересовали ее больше всего; было среди этих книг и несколько романов Золя в английских переводах. Однажды, в ее отсутствие, ее набожный отец заглянул к ней в комнату, обнаружил ящик с книгами и обследовал его содержимое. Добавлю, что, помимо книг, Элизабет хранила в этом ящике несколько пачек сигарет. Книги и сигареты явились последней каплей.

Ее отцу даже в голову не могло прийти, что его дочь живет совсем другой жизнью, чем он и его жена. Кончилось все громким скандалом, который навсегда изменил ее отношения с родителями. Нет, никто из

отчего дома ее не выгонял – отец был человеком другого сорта, – но теплые, дружеские (хотя порой и натянутые) отношения, которые существовали в семье, теперь навсегда изменились. Отец не то чтобы не хотел – не мог взять в толк, как это женщина или девушка может читать подобные книги, да и вообще проявлять к ним хоть какой-то интерес.

Отец счел, рассказала мне Элизабет, что у его дочери голова идет кругом, что она отбилась от рук, бросила вызов чистым семейным помыслам. Вместе с тем, человек глубоко верующий, он не мог позволить себе судить дочь слишком строго. Даже теперь речи быть не могло о том, чтобы лишить ее крыши над головой. Он даже не отругал ее всерьез, а вместо этого взял из ящика дочери несколько книг, отнес в кабинет и запер в ящик письменного стола.

Когда Элизабет вернулась, отец позвал ее к себе и достал три книги: «Земля», «Нана» и кое-что еще. На беду, в некоторых из них имелись иллюстрации в духе Ропса^[7].

– Дочь, эти книги я нашел у тебя в комнате, – сказал он и замолчал в надежде на то, что Элизабет что-то ему ответит. Не дождавшись, он продолжил: – Не знал, что ты такая вероотступница. Вот что бывает от увлечения образованием. Мне сказать больше нечего. Попрошу об одном: вынеси все эти книги и все прочее в том же роде из моего дома. Храни их в любом другом месте – только не здесь, у тебя ведь есть собственные деньги. Теперь ты больше со мной не считаешься, сама знаешь. Но у себя дома я эти книги не потерплю, и, пока ты здесь живешь, будь добра, выполняй мои желания».

Говорил ее отец спокойно, и все же, хотя человек он был физически сильный, руки у него дрожали.

Вот чем закончился рассказ Элизабет о ее домашних злоключениях.

Ее жизнь, при всех ее несомненных преимуществах, потеряла для нее всякий смысл. Она уж было совсем отчаялась, но тут ей попались на глаза мои книги. По ее словам, она впервые почувствовала, что в мире есть человек, который готов ее понять, кому может понравиться ее красота и ум, кому она сможет отплатить за то, что он для нее сделал, пусть даже сделал совсем немного.

Тут только начал я понимать, чем объясняется ее напряженный, печальный, задумчивый взгляд, ее какое-то натужно-бурное веселье.

Она была существом тревожным, погруженным в себя, умела при этом предаваться радостям жизни; умение это, как вскоре выяснилось, отличалось гипнотическим действием. Этой способностью ей удавалось заразить и других, меня в том числе.

К такому человеку, как она, можно обратиться за утешением, подумалось мне. Я видел жизнь такой же, какой видела ее она, – правда, без чрезмерного, неумеренного стремления к совершенству, желания не только добиться его, но и сохранить.

Замечу в этой связи, что многие женщины, даже непостоянные, стремятся в гораздо большей степени, чем мужчины, удержать того, кем восхищаются. Они инстинктивно хотят это восхищение любой ценой сохранить, поместить священный пламя любви в тихое, спокойное место, где бы ветер не задул его, и там, в этом укромном месте, ему в одиночестве поклоняться.

Мужской же дух, управляемый мужским характером, беспокоен, тревожен, он довлеет над миром. Охваченный чувством, страстью, он недолго будет оставаться в неподвижности.

Что до меня, то в те годы я был почти патологически непостоянен; о том, чтобы довольствоваться одной-единственной связью, не могло быть и речи. Я жил в окружении многочисленных созданий, которые пребывали в постоянном поиске самых разнообразных связей, стремились любой ценой приумножить свой жизненный опыт. Я увлекался многими женщинами и по самым разным причинам. За последние три-четыре года меня преследовали многие представительницы прекрасного пола в надежде, что их шарм, их прихоти произведут на меня впечатление.

В подобных обстоятельствах трудно было ожидать, что после всего одной встречи между нами возникнет долгая и прочная связь. И тем не менее уверен: Элизабет на это рассчитывала, в это верила. Возможно, она плохо себе представляла, как сложатся наши отношения в дальнейшем, но о чем-то подобном задумывалась.

И теперь, нарисовав (лучше сказать – набросав) мне свой портрет, она сочла наш союз для себя приемлемым, и теперь ей ничего не оставалось, кроме как следовать этим путем дальше, сообразуясь со своим давним желанием со мной встретиться.

– Даже не знаю, верю я в высшее образование для женщин или нет! – воскликнула она, сопроводив свои слова каким-то утомленным

и в то же время соблазнительным жестом, задуманным исключительно, чтобы произвести на меня впечатление. – Что оно мне дало? Книги, которые я читаю, в сущности, меня мало интересуют. В первую очередь меня интересует жизнь, а ведь книги являются не более чем отражением жизни, а не самой жизнью.

– Вы совершенно правы, – согласился я, – но уже поздно. Не хотите ненадолго зайти ко мне? Мы сможем продолжить разговор у меня.

Элизабет ничего не ответила: молча сидела и смотрела на меня. За ужином пила она мало, с трудом отрывая от стола своей крошечной ручкой высокий стакан с бренди и содовой. Все это время, пока продолжался ее долгий рассказ, ее личико оставалось бледным, задумчивым – казалось, она озабочена какими-то философскими и этическими проблемами. Теперь же у нее на щеках выступил румянец, глаза увлажнились. Она и вправду была на редкость хороша собой. Ничего не сказала в ответ: сидела и по-прежнему смотрела на меня, – а потом облизнула крепко сжатые, надутые губки.

До сих пор помню детскую наивность, написанную на ее лице, когда она входила в мою квартиру. Осмотрела картины на стене и только тогда сняла наконец шляпку и пригладила волосы. Я подошел к буфету за выпивкой, а она задержалась у письменного стола.

– Вы не сердитесь за то, как я сегодня днем себя вела? – спросила она, сделав шаг мне навстречу.

– Ничуть.

– Вам кажется, что я ужасно неопытна, да?

– Вы так невинны, а между тем внушаете мне какой-то священный ужас. Я не мог предположить, что вы такая проницательная. Вначале мне показалось, что вы человек скорее эмоционального склада.

– Властный самец! – воскликнула она. – По-вашему, я должна быть безмозглой и похотливой, я знаю. О боже, все против меня! Все!

– Ерунда! Не рисуйтесь!

Она бросила на меня странный, какой-то сочувствующий взгляд. Я сел в кресло, а она подошла и присела на подлокотник.

– Как вы не понимаете, – сказала она, – чувство, которое я к вам испытываю, это гораздо больше, чем уважение. Я валяла дурака, бог весть кого из себя строила, а сейчас я здесь, у вас, и по своей собственной воле. Это для вас что-нибудь значит?

– По-моему, вы даже слишком красивы и так непохожи на ту, которую я себе вообразил, что я совершенно сбит с толку. Не знаю, что и думать, скажу одно: я вами очарован, больше того – околдован. Вам мало?

Со временем мы вжились в миры друг друга. Я вжился в ее мир, она – в мой. И чтобы она там ни говорила, я был ее миром и в самом деле очарован: он был так безмятежен и прочен.

Я часто думал, почему она с такой определенностью решила, покинуть свой мир, почему не нашла в нем ничего для себя привлекательного. И в то же время, несмотря на всю разницу между нами, в чем-то существенную, мы с ней поладили, нас многое объединяло. С первого дня я был потрясен, захвачен искренностью, силой, дерзновенностью ее ума, ее интуицией, способностью ухватить все самое главное, а также чувством романтики, цвета, красоты, довлевшей над ней.

Случалось, из-за бессмысленности, тщетности существования ее охватывало отчаяние. Бывало, однако, что она думала (и была права), что жизнь, судьба ей благоприятствуют, все блага жизни к ее услугам, все складывается так, как ей хочется.

– Дай мне вкусить от большого аппетитного пирога, – однажды сказала она мне, – и ты услышишь от меня все самое важное и нужное. Я предпочитаю жить сейчас, в нужное время, нужным образом. Все остальное значения не имеет.

И хотя Элизабет прекрасно понимала, что любовь – это мучительная, а иной раз и разрушительная иллюзия и что очень часто является не более чем тенью наших идеалов подобно тому, как нарядную одежду набрасывают на деревянное чучело, тем не менее в целом мы были единомышленны: любовь – это все. Дайте мне хотя бы иллюзию любви с ее страданиями, ужасами – и пусть тогда все остальное исчезнет.

И после нашего первого свидания она смело шла навстречу этим страданиям и ужасам любви. Что бы я ни делал, как бы себя ни вел, она упорно стояла на своем: во мне она обрела свой идеал. При всем моем дурном, неуживчивом нраве, при всей моей раздражительности, строптивости, несмотря на внезапные взрывы ничем не оправданного веселья, на неадекватно бурное воображение и приступы влюбленности, я оставался ее прекрасным принцем.

Начиная с первого дня, она по-своему боготворила меня, что вовсе не мешало ей резко, порой безжалостно, меня критиковать и даже подвергать насмешке, стерпеть которую было далеко не просто.

С первого же дня она понимала и ценила меня больше, чем кто бы то ни было до нее. Довольно скоро выяснилось, что в разговорах о жизни и обо мне она особо не церемонится, говорит не без яда и то, что думает. Себя я оценивал далеко не так проницательно, как она меня. Много в ней было мне очень близко и дорого. Я не мог не восторгаться ее проницательностью, чувством юмора, толерантностью, острым язычком, добродушием и сосредоточенностью, верностью, неподдельным чистосердечием, нетерпимостью к мелочности, черствости, жестокости, а также к бессмысленному и бесцветному тщеславию и высокомерию.

Нельзя было не поражаться той не свойственной ее возрасту мудрости, практической и творческой, с какой она, пренебрегая собственными интересами, шла на поводу у такого заблудшего, любопытного, непостоянного и ненадежного фата и позера, как я.

Тайна влюбленности! Тайна увлеченности! «И что эта женщина во мне нашла? – часто думал я. – Тайна тайн, иначе не скажешь. Я же знаю, какой я на самом деле прохвост, да и она прекрасно знает, что верить мне нельзя».

В самом начале наших отношений, почувствовав, что она, очень может быть, во мне ошибается, я сказал ей:

– Почему ты решила, что, раз я тебе нравлюсь, значит, и ты должна мне нравиться? Ты являешься ко мне, резко меня критикуешь, а потом вдруг решаешь, что я тебе очень нравлюсь, даже не дав мне возможность высказаться, что я на этот счет думаю. Откуда ты, например, знаешь, что в моей жизни нет других женщин, многих женщин? Откуда ты знаешь, что я или любой другой может тебя полюбить так, как тебе этого хочется?

– Не знаю, – ответила она. – А у тебя что, много других женщин?

– Да, хватает.

– И ты их всех любишь?

– Да, они мне очень нравятся, все до одной.

– Любить и нравиться не одно и то же. Может быть, ты сочтешь это глупостью, но если б ты по-настоящему кого-то любил, то вряд ли отвечал бы на мои письма.

– Правильно. Чистая правда. Стало быть, ты считаешь, что у вас у всех равные шансы?

– Нет, не совсем. Сомневаюсь, что ты можешь кого-то долго любить. Мало ли как сложится... Никогда же не знаешь, как повернется судьба. Я, к примеру, решила, что тебе понравлюсь, хочешь ты того или нет. Мне казалось, что мой ум, моя красота привлекут тебя – хотя бы на время. Вот почему я первым делом заговорила с тобой о своей красоте. В этом случае главное – открыться тому, кто тебе нужен; это я сейчас и делаю. Я заранее знала, что тебе это должно понравиться. Разумеется, мне было известно, что ты был женат и ушел от жены. Я понимала, что, не зная женщин, ты бы не смог написать те книги, которые написал. К тому же женщины тебе нравятся, поэтому я понимала, что шансов у меня не больше и не меньше, чем у любой другой.

И она тихонько, издевательски, вызывающе хихикнула. Засмеялся и я.

Более полутора лет мы с Элизабет прожили одной жизнью. Мы очень сблизились, проводили ежедневно по многу часов вместе. Едва ли не каждый день, месяцами мы вместе завтракали и ужинали. Деньгами, и немалыми, которыми Элизабет располагала, она делилась со мной, платила свою долю за такси, нанимала машину, когда мы выезжали в рестораны, находившиеся далеко за городом или на океане, – одним словом, участвовала в расходах, которые я бы себе, будь один, никогда бы не позволил. Она была очень щедрой, в отличие от многих женщин, на туалетах помешана не была, но одевалась со вкусом, заботилась о том, чтобы хорошо выглядеть: красивые вещи поднимали ей настроение. По магазинам ходила не без удовольствия, не считала эту обязанность докучной. Развлекалась Элизабет тем, что пела и играла на фортепиано, однако больше всего любила читать, редактировать и критиковать отдельные главы, статьи или рассказы, над которыми я трудился. Разгромит меня в пух и в прах, а потом пойдет со мной в ресторан или на танцы.

Иногда Элизабет критиковала меня особенно резко, и как-то раз, обнаружив случайно оброненный черновик какого-то моего рассказа, в сердцах воскликнула:

– Боже, какая чушь! И тебе не стыдно? Если и дальше будешь писать такое, читать эту дребедень я не стану! – И с этими словами она

сгоряча швырнула прочитанные страницы, и не на письменный стол, а в корзину для бумаг. Я пришел в бешенство и стремглав выбежал из дома, но не прошел и квартала, как услышал за собой перестук каблучков. Элизабет, без шляпы, без пальто, с развевающимися, спадавшими на глаза каштановыми кудрями, со всех ног бежала за мной.

– Мед! Ради бога, вернись! – кричала она. – Пожалуйста! Ты же знаешь, почему я так сказала. Знаешь же! Я люблю тебя! Люблю твои книги. Хочу, чтобы у тебя был успех. Поверь, самое худшее из того, что ты пишешь, в сто раз лучше, чем то, что сегодня превозносят критики. Да ты сам это прекрасно понимаешь! Ты же знаешь, я в тебя верю. Пожалуйста! Если я тебя ругаю, то ради тебя же. То, что ты написал, совсем не плохо, это даже хорошо, это прекрасно! Но ведь ты можешь написать лучше, можешь же, и я хочу, чтобы ты написал лучше, слышишь? Вернись, пожалуйста, вернись. Умоляю!

Она бежала рядом, с трудом за мной поспевая: один мой сердитый шаг равнялся ее трем, а то и четырем. Она повисла у меня на руке, заглядывая в глаза, а потом, когда я наконец остановился, принялась целовать мне руки, рукав моего пиджака.

– Прошу тебя, Бетти, перестань, – сказал я. – Не устраивай сцен на улице, будь добра. Не делай из меня посмешище, слышишь? Больно уж ты разошлась!

Кончилось тем, что, отчаявшись привести ее в чувство и чтобы не привлекать зевак, я вынужден был подчиниться и вернуться домой. Когда мы пришли, она стала говорить, что я устал, что нам надо поехать в ресторан поужинать, а утром, на свежую голову, она покажет мне те места в рукописи, которые нуждаются в исправлении. Когда я с ней согласился, она пустилась танцевать и петь, глаза у нее сверкали. Мы поехали в ресторан, а наутро – она оказалась права – настроение у меня поднялось, я был более покладист, чем накануне, и мы исправили все недочеты.

Это лишь один пример того, какой необычной и увлекательной жизнью я зажил с ее появлением. Было лето, погода стояла прекрасная. Мы – а вернее, я – снимали квартиру на углу Риверсайд-драйв и 111-й улицы. На крыше нашего дома был разбит сад, висел гамак, внизу под нами протекала река. О «сухом законе» мы тогда еще слыхом не слыхивали.

Когда была не в настроении, Элизабет пила до тех пор, пока не увидит мир в розовом свете. Больше всего она любила то, что называла маленькой вечеринкой с коктейлями. Если все шло хорошо или если, наоборот, что-то не ладилось и я пребывал в унынии, она предлагала часа в четыре дня смешать коктейли и подняться на крышу.

Если в доме не оказывалось льда – Элизабет терпеть не могла, когда в доме чего-то не хватало, – она бежала в ближайший магазин или на мясной рынок, где у нее установились хорошие отношения с продавцами, и возвращалась с колотым льдом в нужном количестве, после чего смешивала нам коктейли, которые мы смаковали до самого ужина.

Иногда мы ужинали в одном из ресторанов на Гудзоне, или на Саунде, или на Лонг-Бич, куда отправлялись в автомобиле, который Элизабет заказывала на свои деньги. Однажды, помнится, к моему величайшему изумлению, в одном из таких ресторанов мы встретили моего приятеля художника, который был вдобавок еще и превосходным танцором. Поскольку Элизабет очень любила танцевать, а он, как мне показалось, в своей компании откровенно скучал, я позвал его, он подошел к нашему столику, и они с Элизабет сразу же нашли общий язык.

Они танцевали и танцевали, пока я наконец не сказал в шутку, что, наверно, я здесь лишний и мне давно пора вернуться домой в одиночестве. Но должного впечатления моя шутка на них не произвела, Элизабет танцевала до упаду, была совершенно счастлива, и мы просидели в ресторане до трех утра, и только тогда я, устав, настоял на том, что пора уходить. Элизабет вспылила, назвала меня брюзгой, заявила, что я испортил ей вечер и мог бы подождать, пока она не натанцуетась всласть. Я объяснил ей, который сейчас час и сколько времени нам потребуется, чтобы вернуться в город. Мы вышли из ресторана, когда уже светало, мой приятель художник последовал за нами, и они продолжали танцевать прямо на улице, среди машин, припаркованных у входа в ресторан и на тротуаре 111-й улицы. Выплясывали с таким азартом, что фалды его фрака стояли дыбом. Оба выпили лишнего и веселились от души. Смеялся и я, а также одинокий полицейский, который подошел выяснить, что происходит. Наконец, когда совсем рассвело, Элизабет нехотя согласилась вернуться в город. Подобная неумная жизнерадостность

охватывала ее не впервые. И тем не менее сомневаюсь, чтобы она впоследствии встречалась с моим приятелем.

Но такой жизнерадостной была она далеко не всегда. Когда задумывалась о себе, о своем прошлом, она сникала. При всей силе духа, при всей прозорливости она не могла не думать, как так получилось, что ее нрав, сформировавшийся со всеми его причудами в такой добропорядочной, религиозной семье, столь непримирим и приносит своим близким столько горя. Ей очень не хватало всего того, что семья ей недодала, и в свои двадцать три – двадцать четыре года считала себя в своем доме чужой.

В придачу ко всему этому и несмотря на любовь к жизни и к искусству, она не верила в амбиции женщин, если не считать музыки, пения, танцев и сцены. Ей казалось, что ограниченные представления, бытовавшие в ее консервативной семье, то безразличие, с каким ее родные относились к музыке и танцам, подорвали ее природные склонности. Она полагала – и, на мой взгляд, не по возрасту, – что жизнь ей не удалась, а потому стремилась отомстить жизни, которая так дурно с ней обошлась. Отомстить полнейшим безразличием ко всему происходящему, издевательством надо всем тем, за что борются и к чему стремятся. «Устремления! – говорила она. – Какая чушь!» И презрительно надувала губки, смеясь над жалкими, ничтожными людскими потугами, своими собственными в том числе. Она мечтала стать танцовщицей. Что ж, ей не дали стать танцовщицей. Не дали, и бог с ним. Какая, в сущности, разница? А разница между тем была, и немалая.

С другой стороны, ее не могло не огорчать, что многим мужчинам, с которыми она сходилась и расставалась, она доставляет неприятности. Она влюбляла их в себя, а потом их чувства высмеивала, отчего испытывала угрызения совести. И ко всему прочему, у нее был я, но тоже ее совершенно не устраивал.

И понятно почему. Ведь помимо одной женщины, о которой я ей рассказал (Элизабет видела ее собственными глазами: она стояла на улице рядом со мной и ей сразу же очень понравилась), в моей жизни были и другие, много других. О них она ничего толком не знала, но об их существовании догадывалась.

Она достаточно часто бывала у меня и неплохо знала, что происходит в моей жизни. Не могла не видеть моей переписки, пусть

даже подробности писем оставались ей неизвестны. Не могла не слышать телефонных звонков и обрывков разговоров, даже если я говорил вполголоса. Сколько раз в ее присутствии мне приносили телеграммы, письма и бандероли, приглашения куда-то пойти, что-то сделать. Случалось, мы с ней встречали на улице какую-то мою знакомую, и разговор с Элизабет вполне мог вызвать подозрение. Невозможно встречаться со многими женщинами одновременно и при этом избегать конфликтов, и Элизабет вскоре после того, как согласилась у меня бывать, поняла это, пусть и не в полной мере. Поначалу, когда я и в самом деле очень ею дорожил, проводил с ней бо́льшую часть свободного времени, ситуация не была столь напряженной. Позднее же, когда я к ней поостыл и в моей жизни стали появляться и другие, хоть и не столь привлекательные, женщины, она не могла на меня не обижаться, не могла меня не ревновать.

Но и в этих условиях жизнь в Нью-Йорке доставляла ей огромное удовольствие. В городе у нее было много родственников, и я часто задавался вопросом, как это ей удастся их избегать или же, если она все-таки с ними встречалась, объяснять, и вполне правдоподобно, почему она здесь оказалась.

Кроме всего прочего, она имела обыкновение писать письма – на мой взгляд, излишне длинные, – а потом жаловалась мне, что терпеть не может переписываться. Сегодня напишет матери, завтра – сестре. В каком-то тихом городке в Коннектикуте жила ее тетка, писала Элизабет и ей, причем не реже раза в месяц. Тетушка была женщиной небедной, и поскольку все свое состояние завещала племяннице, Элизабет считала своим долгом регулярно ей писать.

И тем не менее всякий раз, прежде чем сесть за письмо, она, в преддверии сего тяжкого испытания, начинала причитать: «О боже! Вот ведь напасть! Господи, как же я все это ненавижу! Понятия не имею, о чем писать. Приходится врать, врать напропалую. Я занимаюсь в музыкальной школе. Я учусь в Колумбийском университете. Бедный университет! И как же давно я там учусь! О боже, боже!»

Зайдешь как-нибудь утром или днем к ней и видишь, как она, склонившись над столом, водит скрипучим, никуда не годным пером по бумаге. Увидит меня, воскликнет: «Не отвлекай меня, Мед!» – и махнет рукой, словно говоря: «Делай что хочешь, только со мной не

разговаривай!» А потом добавит: «Сядь почитай книжку или посмотри в окно. Я уже тысячу лет не писала маме. Должна же я придумать какое-то оправдание, почему я здесь!» После чего вновь бралась за письмо и принималась скрипеть пером, отчего хотелось лезть на стену. Наконец поставит точку, соберет страницы, исписанные крупным, округлым, размашистым почерком, и скажет: «Ну вот! Сплошное вранье! Хотя бы одно слово правды! Когда пишу домой, вру обязательно! Но надо же что-то предпринять, надо достать денег, и как можно скорее!» Все ее деньги находились у опекунов, и Элизабет приходилось, пока ей не исполнится тридцать лет, брать под наследство в долг, и единственный человек, который мог одолжить ей нужную сумму, был отец. А поскольку отношения с отцом после всего, что между ними произошло, были натянутые, ей приходилось обращаться к нему через мать, которая писала ей очень ласковые, хотя и бесцветные письма.

– Бетти, – однажды сказал я ей, прочитав одно из таких писем, – ну как ты можешь говорить, что ненавидишь этих прекрасных простодушных людей? Самых обходительных, добропорядочных и верных на свете.

– Да-да, думаешь, я не знаю? Будь добр, не читай мне мораль. В отличие от тебя я знаю их уже двадцать лет. Не так уж ты любишь обходительных, добропорядочных людей. Я прекрасно понимаю, что в них хорошего, а что плохого. Но что с того?

Что меня поражало в Элизабет больше всего, так это ее нестигаемая сила духа. Себе она никогда не лгала, не страдала комплексами, свойственными женщинам ее возраста и времени; она изжила их посредством своего ясного, мощного ума.

Прошел без малого год после нашего знакомства. Поймав себя на том, что слишком долгая и тесная связь с одной и той же женщиной, какой бы интересной она ни была, мне немного надоела, я начал осматриваться по сторонам в поисках человека, который мог бы в Элизабет влюбиться и хотя бы ненадолго отвлечь ее от меня. Мужчин, которые из кожи вон лезли, чтобы ей понравиться, было сколько угодно. Но все они были ей безразличны.

Меня порой искренне удивляло, с каким равнодушием относилась она к мужчинам, которые мне представлялись незаурядными.

– Если ты меня разлюбил, – с горечью сказала она мне однажды, – тебе совсем не обязательно с кем-то меня сводить. Когда не захочешь больше иметь со мной дело, я сама себе кого-нибудь найду, а если не найду, буду жить, как раньше, до тебя.

С Элизабет мы, в конце концов, разошлись, хотя ни я, ни она никакого желания расставаться не испытывали. Разошлись вот почему. Элизабет понимала, что я принадлежу к числу тех мужчин, которые в силу самых разных обстоятельств не могут долгое время любить одну и ту же женщину. Я же придерживался того мнения, что, коль скоро наша жизнь сама по себе разнообразна, переменчива, непредсказуема, для меня самое важное встретить побольше *разных* людей, и прежде всего женщин, которых, казалось мне, я знаю гораздо хуже, чем мужчин. Я считал для себя совершенно неприемлемым оставаться безучастным к заигрыванию представительниц прекрасного пола, тем более если они молоды, умны, красивы, соответствуют моим вкусам и запросам.

Почти все они, чего греха таить, кокетки и развратницы, но меня их кокетство, их обхождение умиляет, доставляет удовольствие. При желании я мог бы составить целый том из коротких набросков о многих из них, но вряд ли это будет кому-то интересно – уж больно все они одинаковы.

Я мог бы сколько угодно убеждать себя, что, раз их так много и все они на одно лицо, мне вряд ли стоит их менять, и следует поэтому из всех сил бороться с искушением. Вместе с тем пристрастие к красоте, веселью, молодости берedit душу, жить и любить хочется еще сильнее.

Вдобавок, как хорошо всем известно, успех, или слава, или богатство, или призвание, или оригинальность обладают определенным магнетизмом, который – нередко безнадежно и даже фатально – притягивает к себе всех тех, кто падок на все эти неотъемлемые признаки удавшейся жизни. Говоря о себе, я не мог бы в точности определить, что увидел во мне мой читатель. Однако сразу же после выхода в свет второй книги (и даже раньше) у меня появилась масса поклонников моего дарования, мужчин и женщин, людей молодых и старых.

Ко мне стали приходить сотни писем, в большинстве своем, правда, довольно бессмысленных, и я ими постыдно пренебрегал. Число моих

почитателей обоих полов, что без приглашения являлись ко мне домой, росло с каждым днем. Среди них попадались иногда и те, кому было что сказать и кому, несмотря на довольно холодный прием с моей стороны, удавалось найти со мной общий язык. Имелись среди моих поклонников и люди известные, светские львицы или властители дум, которые были мне интересны и которым я наносил визит сам.

В результате я близко сошелся с некоторым количеством мужчин и женщин, многие из которых были для меня очень важны. В то же время встречались среди них и такие (женщины в первую очередь), знакомство с которыми оказывалось для меня весьма обременительным.

В то же время у умной, обаятельной и известной женщины, которой увлекся я и которая очень увлеклась мной, возникало немало серьезных проблем. Со временем, хотя я заранее предупреждал ее о последствиях, объяснял, что я собой представляю, она убеждалась, какая опасность грозит женщине, влюбившейся в мужчину, который является публичной фигурой и которого невозможно переделать.

Хорошо знаю (или догадываюсь), что есть люди, мужчины и женщины, которым удастся не идти на поводу у своих почитателей, которые не сходятся с кем придется. По природе своей эти люди независимы. Тому же, кто падок на красоту и шарм слабого пола, кто прельстился самыми разными, не похожими друг на друга красавицами, такая независимость дается нелегко.

Взять хотя бы меня. Как бы я не убеждал себя, что все женщины одинаковы, в моей жизни появлялась очередная возлюбленная. Она мало отличалась от тех, кто был до нее и будет после и все же чем-то неуловимым: цветом глаз, размахом бровей, движением рук, походкой, тем, как она морщит в улыбке губы, – всем своим видом она мгновенно разбивала в пух и прах всю мою самоуверенность, все мои посулы.

В самом деле, если смотреть на вещи с химической или биологической точки зрения, мои заверения – это не более чем жесткое противостояние атомов, из которых я состою. Одни атомы выступают за воздержание, за пренебрежение женщинами, другие голосуют за прямо противоположное и, возможно, одержат победу. И тут неожиданно, вопреки всем ожиданиям, появляется нечто под

названием «смазливая девица». И что же мы видим: партия, одержавшая победу, низложена и отправлена в отставку.

Иными словами, каждый атом нашего внутреннего космоса одумается, откажется от своих прежних взглядов и решит: самое лучшее не то, что было, а то, что есть теперь. Решаем не мы, а они, атомы, сколько бы мы ни говорили: «Мы приняли решение. Мы принимаем решение». Вот я и задаю вопрос всем чистосердечным людям: что они в этих обстоятельствах думают о таком решении, как к нему отнесутся, хорошо или плохо?

Если отвлечься от теоретических рассуждений, то надо признать, что в подобной ситуации Элизабет и правда пришлось нелегко. Первое время она о моем непостоянстве даже не подозревала, и только когда узнала (и осознала), что в действительности происходит, и начались ее страдания.

Однако она была не из тех, кто устраивает истерику по пустякам, кто делает все возможное, чтобы привязать меня к себе, – чего бы ни стоило ее великодушие. Ничего подобного! Она ко мне не переезжала, снимала поблизости собственную квартиру и нередко там уединялась поразмыслить и поработать в одиночестве.

Иной раз, когда я нервничал или не обращал на нее внимания, она уговаривала меня поехать куда-нибудь на выходные. Быть может, в другой город, чтобы, как она выражалась, «я тебе окончательно не надоела». Бывало, она и сама уезжала из Нью-Йорка повидаться с бывшими сокурсницами.

Родительский дом она не любила, однако, случалось, ездила навестить родителей или тетюшку из Коннектикута, а по возвращении, спустя неделю-другую, упрекала меня в том, что в ее отсутствие я плохо себя вел. Редко писал ей, а если писал, то совсем не те письма, которые она от меня ждала. Ведь она так меня любит. Зачитывается моими книгами. Неужели и она, и ее помощь значат для меня так мало?

Беспокоилась за свое будущее. Что из нее выйдет? Какая же она дура: связалась с мужчиной, которого однолюбом никак не назовешь. Как-то раз ей сказали, что меня видели в городе с какой-то дамочкой. Кто она? Почему я ее с ней не познакомлю?

Однажды она нашла у меня несколько фотографий моих знакомых женщин с дарственной надписью.

– Что тут скажешь! – с грустью вздыхая, сказала она. – Плохо, когда у тебя есть даже одна соперница. А если таких соперниц пятьдесят?

Я пытался втолковать ей, что это старые фотографии, – напрасно.

– Вздор! – воскликнула она. – Новых увлечений у тебя во много раз больше, чем старых!

Сколько же мы с ней спорили о красоте, сексе, соблазнах новых увлечений. Она нападала, я защищался, однако в голову мне ничего не приходило, кроме одного: красота неотразима и необъяснима. Она же настаивала на том, что безумная страсть может оказаться губительной, не даст мне работать, развратит мое воображение, лишит меня способности здраво рассуждать о жизни. Мне что, никогда не приходило это в голову? – допытывалась она. Что ж, пусть думает что

хочет, говорил я себе. Вместе с тем я стал замечать: если я проводил с ней время, то исключительно, чтобы доставить удовольствие ей.

Ее же больше всего огорчало другое. Через девять-десять месяцев после нашего знакомства я к ней охладел, хотя при встрече не скрывал своей радости, особенно когда она возвращалась в Нью-Йорк после недолгой отлучки. Сколько раз она повторяла, что возьмет себя в руки, соберется с силами и меня бросит, ведь она мне больше не нужна. Что ж, я не мог не признать, что она права.

Но ведь не бросила же! Как правило, сказав все, что обо мне думает, Элизабет, совершенно преобразившись, заявляла: все это не имеет никакого значения, она же меня любит. Главное, чтобы я был с ней ласков, не жесток – и все будет в порядке. Нет ничего лучше, чем быть со мной рядом. Лишь бы только трудиться вместе со мной над моими книгами! Как бы ей хотелось, говорила она, стать феей, забиться ко мне в карман и оттуда наставлять меня громким, пронзительным повизгиванием. Не знаю, как у нее, но у меня тогда сохранилось только одно чувство: дружеской преданности, – но и это ее какое-то время вполне устраивало.

Из-за моего непостоянства, из-за растущего к ней безразличия, которое проявлялось в том, как тяжело я вздыхаю, как с трудом сдерживаю зевоту, особенно когда мы долгое время не расставались, она приходила в ярость, замыкалась в себе. И постепенно начала в свою очередь терять ко мне интерес – во всяком случае, поняла, что надеяться ей не на что.

– Ты не виноват, Мед, – с грустью говорила она, когда ей становилось невтерпёж. – Я тебя понимаю, ты ничего не можешь поделать, я же знаю. Виновата я. Я сдуру тебя не отпускаю. Я тебе нравлюсь, ради меня ты на все готов. На все, кроме одного, того, что я хочу, того, что мне от тебя нужно, – любить меня. Не проси у меня прощения, Мед, я не умру, я справлюсь, да у меня и нет другого выхода. Но я должна была тебе это сказать, для меня это не шутки.

И на ее светло-голубые, в упор смотревшие на меня глаза наворачивались слезы. Я же чувствовал себя последним негодяем и все-таки при всем желании не мог заставить себя быть тем, кем она хочет, делать то, о чем она больше всего мечтает.

Примерно в это время – осенью 1913 года, если не ошибаюсь, – в нашей с ней жизни появилась некая личность, которая пообещала (а

вернее, пригрозила) разом решить все наши проблемы. И хотя моя гордость была немного ущемлена, когда выяснилось, что Элизабет так легко удалось найти мне замену, меня все же утешала мысль, что ее чувства пробудились вновь и она сможет расплатиться со мной моей же монетой.

Познакомились они за ужином в ресторане, куда Элизабет пригласил ее давний поклонник, тогдашний генеральный прокурор штата: оказавшись по делам в Нью-Йорке, он ее отыскал. По всей видимости, в городе у него было много знакомых, и несколько его приятелей, которые в тот вечер ужинали в этом же ресторане, сели за их столик. Среди них был некто майор Б. и его друг Ричард Плейс, который совсем недавно вышел в отставку в чине капитана и собирался на Филиппины по заданию крупной сталелитейной корпорации. Этот совсем еще молодой капитан – призналась мне, вернувшись в тот вечер из ресторана Элизабет, – ей очень приглянулся.

По ее словам, это был высокий, худощавый, крепкого сложения мужчина, который где только не побывал: и в Техасе, и в Мексике, и в Канаде, и на Филиппинах, и в Китае и теперь, через несколько месяцев, опять едет на Филиппины. Его жена умерла год назад, – и он отправил еще совсем маленькую дочку в Техас к своей сестре. Как видно, Плейс произвел на Элизабет впечатление, и когда я на следующий вечер или через пару дней принялся расспрашивать ее про капитана, она призналась, что он ей понравился, даже очень. Он же, с ее слов, смотрел на нее влюбленными глазами – «тоскливым взглядом», как она выразилась. Плейс, одним словом, был безупречен, и, разумеется, ему нужна была женщина, которая «его понимает».

– Такая, как ты, например, – сухо отозвался я. Как же порочен, жаден, бездумен и завистлив бывает иной раз человек! И в этом нет ничего удивительного.

– Какой вздор ты мелешь, Мед! – презрительно и в то же время как-то задумчиво возразила она. – Ну как ты можешь так говорить? Как будто с тобой может кто-то сравниться!

С каким же пылом она произнесла эти слова! Не случайно – сразу же подумалось мне. Ха-ха. Стало быть, и правда увлеклась. Чего только не распознаешь по голосу, по тону, по тому, как человек держится, говорит...

– Нет, я тебя не ругаю, не думай, – продолжил я. – Но я прекрасно помню наш разговор. Сколько дней прошло с тех пор, как ты сказала мне, что найдешь кого-то другого, что у тебя нет другого выхода?

– Да, помню, – ответила она, – но ведь это были пустые слова. Будто не понимаешь, что ты для меня значишь. Будто тебе невдомек, кто для меня самый важный, самый первый человек на свете. Зря ты беспокоишься, сам ведь знаешь, что был бы рад, если б я кого-то себе нашла.

– Ты так считаешь? Ну да ладно. Скажи-ка лучше, что у тебя с капитаном.

– С капитаном? Ничего особенного, просто мне он нравится, а я ему. Я это сразу заметила. Я ему нужна, он понимает такую женщину, как я. Но ведь это ничего не значит. Говорю я о нем только потому, что человек он очень глубокий. Он сознает, какая скверная штука жизнь, он, полагаю, много чего в жизни испытал, но преодолевает трудности, ведет себя как настоящий солдат, потому что иного пути нет. Он – человек действия, а не сторонний наблюдатель вроде тебя.

– Вот как? – Я хмыкнул; ее слова меня отчасти разозлили, отчасти позабавили. – Сторонний наблюдатель, говоришь? Мои акции, я вижу, стремительно падают.

В действительности, однако, я вовсе не злился – просто ее подзуживал. Все эти разговоры о моих возможных соперниках были неиссякаемым источником для всевозможных шуточек и подначек.

– А он, значит, человек действия? – продолжал я, не дождавшись от нее ответа. – Что ж, ты делаешь успехи – всего за один вечер... Пора мне, стало быть, собирать вещички, отправляться в дальнюю дорожку...

– Перестань! Не валяй дурака! – запальчиво, с неожиданным жаром возразила она. – Я прекрасно знаю, что у тебя на уме, прекрасно знаю, как ты себя ведешь. Мы оба знаем. Я что же, не могу, по-твоему, увлечься интересным мужчиной, раз ты так со мной поступаешь? Тебе не на что жаловаться, я ведь тебе не докучаю, не читаю мораль. Что бы ты там ни думал, увлечение – это одно, а близость – совсем другое. Говорю же тебе, он умный человек, он – личность. Очень может быть, я никогда его больше не увижу, но от этого он нравится мне ничуть не меньше.

– В таком случае ты скорее всего с ним увидишься, я в этом ни минуты не сомневаюсь и очень надеюсь, что так оно и будет. Мне нравится, что ты увлеклась, это повышает тонус. Раскраснелась, словно только что в «поцелуи» играла.

Так оно и было. Щеки горят, глаза сверкают.

– Тоже скажешь, – откликнулась она, обернувшись к зеркалу, перед которым раздевалась. – Ты мне надоел. Наскучил.

– Кстати, – засмеялся я, поддразнивая ее, – скажи, из ресторана вы вышли вместе, ты, он и Б.? Или с Б. ты рассталась и позволила Плейсу проводить тебя до дому?

– Нет, умник, я с Б. не рассталась, и Плейс не отвез меня домой, хотя, по-моему, был очень не прочь. Но тебе-то какое дело? Ходишь куда вздумается, я ж тебе допрос не учиняю, верно?

– Я и не думал тебя допрашивать, – ответил я. – И вовсе с тобой не пререкаюсь. Мог бы и отвезти. По-моему, капитан тебе очень понравился, да и он, если еще в тебя не влюбился, обязательно влюбится, и в самое ближайшее время.

– Уже влюбился, к твоему сведению, – возразила Элизабет, – и если хочешь знать, я могу вертеть им как захочу. Чувствую. А почему бы и нет? Может же в меня влюбиться мужчина, нет разве? Ты меня утомил. Поговорили, и хватит. – И она встала, словно собираясь выйти из комнаты.

Я решил, что не буду больше касаться этой темы. Веду я себя с ней жестоко, подумал я, и был прав. После всего того, в чем я ей признался, странно было, что она меня еще терпит, что верна мне, что от меня без ума. Господи, почему? Тайна сия велика есть!

Обаяние, оригинальность нового знакомого привлекли внимание Элизабет, и она не могла не думать о нем, постоянно вспоминала про него, как вспоминают интересную книгу или пьесу.

– Знаешь, – сказала она мне как-то утром, когда о нем зашел разговор, – он остановился в гостинице. Они с майором временно сидят без дела, обговаривают подробности предполагаемого путешествия. Продлится оно пять лет. У него такие большие карие пытливые глаза. Он такой славный, так к себе располагает.

И вот как-то вечером она призналась, что он ей звонил позвать в ресторан, и она собирается, если я, конечно, не против, приглашение принять. А может, я составлю ей компанию? Ей так хочется побольше

о нем узнать. И потом, хожу ведь я иной раз в ресторан без нее. Какие могут быть возражения?

Я ответил, что не возражаю, но сам не пойду. Меня же он не приглашал, а если и пригласил бы, я все равно бы не пошел.

– Не хочу мешать вашим любовным играм, Бетти.

В первый момент она буквально зашлась:

– Какие еще любовные игры? Что за вздор? И тебе не надоело?

А потом призналась, что уже приняла его приглашение, ведь это всего лишь ужин в ресторане, ничего больше. Сказала, что собирается рассказать ему о себе и обо мне, какое место я занимаю в ее жизни. Расскажу все, что понадобится. Я попросил ее этого не делать, и она ушла, уделив своему туалету повышенное внимание.

После этого ужина она увлеклась капитаном еще больше. «Ни на кого не похож, какой он изысканный, как держится, какой проницательный, какой деловой. И знаешь, он разбирается в женщинах, им сочувствует». К тому же он, *как никто*, ее понимает. У нее с ним много общего. Нет, на меня он не похож. Я жесткий, холодный, а он мягкий, веселый, сердечный. И умеет прощать.

– В отличие от тебя, – отметил я.

– Чепуха! Уж я-то прощать умею – не то, что ты. Так вот...

И она продолжила расписывать уникальные черты своего нового поклонника, а я подумал: наконец-то она нашла человека, который мог бы меня заменить.

Прошло какое-то время, о капитане она больше не вспоминала. Я слышал, что его нет в городе. Позднее она уехала в Бостон, где пробыла несколько недель, причем на этот раз писала реже и без особых эмоций, что было на нее не похоже. По возвращении, когда я ее упрекнул, рассмеялась: дел было невпроворот. А спустя несколько дней я без предупреждения пришел к ней и обнаружил, что она наряжается к ужину. Одевалась долго и со вкусом и сказала, что приглашена в ресторан. Мой приход, похоже, ее смутил – отчего, непонятно.

Я сообразил, что происходит: она, судя по всему, всерьез увлеклась этим мужчиной, и он за ней ухаживал. В этот раз о нем речи не было. Я отшутился – и она тоже. В дальнейшем я заметил, что она нервничает, ей не хотелось, чтобы я подумал, будто она от меня уходит. Да и она сама старалась об этом не думать. Как же печальна

жизнь! Она все еще меня любила и боялась, что я обижусь и от нее уйду.

По сути дела, как я вскоре выяснил, хотя подозревал об этом и раньше, она мучилась из-за своего чувства ко мне, от его тщетности, от желания поскорей покончить со своими страданиями, сомнениями, мыслями о том, как ей поступить, чтобы сохранить наши отношения.

Элизабет колебалась. Возможно, она была почти уверена, что со временем увлечется этим человеком еще больше. Одновременно с этим она еще не настолько в него влюбилась, чтобы расстаться со мной. Как же это все трогательно, я ей искренне сочувствовал и в то же время не испытывал к ней никакой жалости. Из-за извращенности своего нрава я – хотелось мне этого, или нет – был не способен удержать ту, кого удержать бы стоило.

Помню, как-то вечером мы ужинали на балконе ресторана в верхнем Бродвее, в одном из тех немногих тогдашних ресторанов, где можно было сидеть не только внутри, но и снаружи. Помню шум и суету Бродвея под нами, ее платье цвета парижской лазури и лихо заломленную шляпку, что так не вязалась с воздержанностью, рассудительностью, которую она порой демонстрировала. Ее глаза искрились какой-то электрической голубизной, черты лица казались еще изысканнее, живее, чем всегда.

– Ах, Бетти, – в шутку сказал я, – ты же знаешь, что такое женщины. Все они непостоянны, все они одинаковы – не уверены в себе, сами не знают, что у них на уме. Когда Плейс вернется, ты меня бросишь, сама же знаешь. Конечно, бросишь. Ты ведь любишь его, и ты такая же ветреная, как я.

– Немедленно прекрати! – взвизгнула она дрожащим от гнева голосом. – Слышишь! Терпеть не могу этих разговоров. Ты не любишь меня. Так зачем же тогда мучаешь? Я тебя любила и люблю, а ты никогда меня не любил. Ты никого не любишь, меня же терпишь только потому, что жалеешь. Так зачем меня мучить? Да, он скоро вернется, и мы увидимся. Все это время мы с ним переписывались, так и знай! Что ж теперь? Да, он мне нравится; во всяком случае, он добрый, сердечный человек. Он не горная вершина, где лежит снег. Он – человек.

– Ох, Элизабет! – Я вздохнул.

– Да, именно так. Это чистая правда, и ты это знаешь. Ты мучаешь людей, даже когда этого не хочешь. Какие только сны про тебя мне не снятся!

– Бетти, за что ты меня так ругаешь? Уверяю тебя, не я во всем виноват. Ты знаешь жизнь не хуже, чем я. Не могу же я любить по принуждению, правда? А ты можешь? Ты когда-нибудь любила человека, потому что он этого хочет? Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получается. Подумай обо всех тех, кем ты пренебрегла и кого отвергла! За что? Почему?! Разве ты сама когда-нибудь любила через силу? Было такое? Да ты сама холодна и бесчувственна, пока кого-нибудь не полюбишь. Зачем говорить мне такие ужасные вещи? Нам же с тобой было так хорошо! С чего ты взяла, что я не могу тебя полюбить?

Заметив, что она молчит и задумалась, я добавил:

– Что же касается Плейса, то если ты его полюбила, то остановить тебя я не могу. Не могу и не стану. Допускаю, что он славный малый. Но если ты от меня уйдешь, мы ведь останемся друзьями, правда? Договорились?

И тут, пока я говорил, передо мной – хотите верьте, хотите нет – возникла очаровательная картинка, нечто вроде оптического миража. За спиной Элизабет, за парапетом балкона, там, где над городом повисли золотистые, с пушком облака, я увидел дом. Увидел так же ясно, как если бы дом этот сделан был из дерева и кирпичей. Уютное здание колониальных времен, старое, серое, одноэтажное, с широкой скошенной и очень широкой крышей, он стоял среди высоких пальм или деревьев, таких, какие растут в тропиках. По обе стороны от двери с круглым веерообразным окном над ней стояли скамейки с высокими спинками, серые, как и весь дом. Из трубы шел дым. Вокруг росли цветы, высокие окна доходили почти до пола, и вид у дома был такой, будто день клонился к вечеру – к вечеру, какой бывает в экзотических краях, где-нибудь на Яве например. Интересно, подумал я, какое отношение имеет этот мираж к Элизабет. Подумал, но ничего не сказал. О Плейсе мы в тот день больше не говорили. Вышли из ресторана и поехали кататься в небольшом экипаже с открытым верхом, после чего, остановившись по дороге выпить, вернулись домой.

Какое-то время мы продолжали жить как жили. В наших отношениях ничего не изменилось, мы виделись два, а то и три раза в неделю. Ее квартира находилась поблизости от Колумбийского университета и выходила окнами на университетскую библиотеку; я любил бывать у нее и смотреть в окно. В квартире было пианино, Элизабет пела, голос у нее был чистый и нежный. Имелись у нее также граммофон, книги, картины. На ее письменном столе всегда лежала стопка моих рукописей, она их редактировала или же просто садилась за стол, перелистывала страницы и предавалась мечтам.

– Ах, Мед, – сказала она мне однажды, глядя на меня тем затравленным взглядом, какой я не берусь описать: таким был этот взгляд проникновенным, таким греческим, точно на меня смотрела Минерва, что задумалась о чем-то странном, непривычном. Такой же примерно взгляд был у «Герцога Урбино» кисти Микеланджело. – Если б ты только знал, как много значат для меня твои книги! Не могу тебе передать. Когда тебя здесь нет и я не знаю, где ты, твои сочинения для меня почти то же, что и ты. Да, что и ты. Иной раз мне начинает казаться, будто я слышу, как ты говоришь. Бывает, я прижимаю к сердцу твои страницы. Правда. И она со скорбным видом погрузилась в молчание. Передать ее тогдашнее настроение я не в силах.

– О боже, – вырвалось у меня, – как же печальна жизнь!

Я был очень растроган, слезы выступили у меня на глазах. Какая же она крошечная, какая трогательная! Как грустно, что нет никого, кто мог бы сделать эту женщину счастливой на многие-многие годы! Я чувствовал себя виноватым, мне было очень тоскливо. И все же, и все же, несмотря на нее, вопреки ей, вокруг бурлила жизнь, и жизнь эта влекла меня к себе так же неудержимо, как и раньше. Перезвон трамваев, голоса студентов на дорожках кампуса под окном, мысли о девушке, с которой я сегодня встречу. Я знал: все будет как всегда, как всегда, я буду оправдываться. А Элизабет, как всегда, поймет, что я вру, что мои оправдания ничего не стоят, но удерживать меня не станет, спросит только:

– Ты никак не можешь остаться, Мед? Ну что ж, иди, раз надо. Иногда мне так хочется, чтобы мы куда-нибудь поехали в воскресенье, как бывало раньше. У меня ведь столько красивых туалетов!

Чего стоят слова, обещания, мечты, даже желания перед лицом Жизни? Этой неумолимой движущей силы, в сравнении с которой мы

– ничто, пустое место. Мы думаем, мы обещаем, мы требуем, мы заявляем – но та сила, ничтожной частью которой мы являемся, в мгновение ока нас меняет, под ее воздействием у нас возникают совсем другие заботы, совсем другие цели. Как бы мы ни клялись в верности, ни держались за руки, ни били себя в грудь, мешая слезы с мольбой, все наши чаяния тонут в какой-то чудовищной неразберихе, в каком-то тумане, в каком-то наваждении, помрачении ума. Эта неразбериха вторгается в наши самые прекрасные чистосердечные помыслы, в наши самые искренние чувства – и выхолащивают их, а то и полностью меняют. Мы не те, за кого себя держим. Иначе и быть не может. Есть некая сила, что творит нас, следит за нами, меняет нас, бросает нам вызов. Она, эта сила, возносит нас до небес или низвергает в пропасть. Надежда, вера, честь, долг. Верность, любовь – все это скоротечно, преходяще. Мы, может, были бы людьми преданными, если бы Жизнь была нам преданна и оставила нас в покое; мы были бы честны, если бы она, Жизнь, была с нами честна. Но вот что самое обидное: эта ненавистная Жизнь может оказаться такой же беспомощной, как и мы. Как же мучительна эта мысль!

И вот, как и следовало ожидать, наступил конец. Однажды утром, за завтраком, Элизабет рассказала мне, как в прошлое воскресенье, когда я, как обычно, отсутствовал, они с Плейсом отправились на машине в Делаверское ущелье^[8]. По пути они несколько раз останавливались перекусить в придорожных ресторанчиках. Она была от него без ума. Он был в нее по уши влюблен.

Как-то раз, когда они сидели на берегу реки, она чуть было не согласилась провести с ним ночь в одной из гостиниц в горах, но, по счастью, передумала. Почему – объяснить не смогла. Они провели такой чудесный день. Он звал ее поехать с ним на Филиппины. Убежден, он бы на ней женился, если б она согласилась.

И все же, по-моему, как ни восхищалась она этим человеком, большим, красивым, благородным, все понимающим, она не могла заставить себя сделать последний шаг. Я, несчастное никчемное создание, стоял у нее на пути. Она по-прежнему, когда у меня выдавалось свободное время, сидела над моими рукописями, обдумывала их. Всякий раз встречаясь, мы вели долгие душевные беседы на самые разные темы. О чем мы только не говорили: о любви, политике, религии, истории; о людях, о жизни. Несмотря на все, что я

ей говорил и о чем она знала и без меня, стоило мне ее позвать, она отменяла любые дела, встречалась со мной в любом удобном мне месте, в любой час. И хотя иной раз и ворчала, что я доставляю ей неудобства, что с ней не считаюсь, приходила радостная, с неизменной улыбкой на лице.

В какой-то день она, причем совершенно неожиданно, после того как я некоторое время с ней не виделся, вновь завела разговор о Плейсе. Мы ужинали в ресторане. Без всяких предисловий она вдруг заявила:

– Мы с Диком теперь вместе.

– Вот как? – Куда только девалась моя обходительность, моя бравада.

– Да, уже с месяц, даже больше. Я тебе не говорила, потому что знала, что тебе это, в сущности, безразлично.

– Вот как? – повторил я поникшим голосом. – Так уж и безразлично? – Ведь она знала, и я знал, что она знает, что мне это не все равно. Совсем не все равно.

– Совершенно безразлично, – ехидно сказала она, и в ее голосе прозвучали твердые нотки. – Тебя это не волнует. Ни капельки! – И она прищелкнула своими крошечными пальчиками.

– Бетти, ради бога, перестань, – принялся увещевать ее я. – Ты же знаешь, что это неправда. Прекрасно знаешь, что ты мне небезразлична. Как ты можешь говорить такое?

– О, замолчи, замолчи! – Она почти визжала, голос стал едким, пронзительным, она скрипела зубами и поедала меня холодными, злыми глазами. – Не делай вид, что я тебе небезразлична, знаешь ведь, что это не так. Зачем сидеть и со своей иронической улыбочкой рассуждать о том, как ты меня любишь? Как же я иногда тебя ненавижу! Как постыдно ты со мной обошелся! Мне надо было давным-давно рассеять твои чары! Но теперь наконец чары рассеялись. Наконец я счастлива!

– Бетти, прошу тебя!

– Можешь говорить, что тебе вздумается. Ты же сам знаешь, что я говорю правду, чистую правду. Но это не важно, не имеет значения. Пойми, Мед, не имеет никакого значения. Все кончено. Я сделала то, что собиралась сделать, что должна была сделать, и ты меня теперь разлюбишь. Теперь у тебя со мной нет ничего общего. Но это не моя

вина. И мне все равно. Честное слово, все равно. Мне нравится этот человек. Я люблю его. Я первый раз в жизни встретила человека, которого я *так* люблю и который *так* любит меня. Какая жалость, что я не встретила его до тебя!

И вот через несколько недель или, самое большее, через пару месяцев они должны были отплыть на Филиппины, а потом на Яву. Все кончено. Я остался не у дел. Теперь ей не придется больше страдать, она же и в самом деле его полюбила.

Что и говорить, мне было очень горько. Каким бы сторонником свободы в мыслях и действиях я ни был, ее интеллектуальную и эмоциональную поддержку невозможно было переоценить; она, эта поддержка, была бесценна, и я понимал это.

Ни разу в жизни не встречал я равную ей. Пройдут годы, прежде чем я найду такую же. Она навсегда останется для меня символом абсолютной красоты и истинного величия ума. Она была неподражаема, клянусь. Она задала мне высочайшие творческие стандарты, внушила такую художественную дерзость, что писать, что придется, терпеть неудачу я попросту не имел права.

И теперь ее чувство к сему достойному мужу свидетельствовало о том, что вся наша любовь летит в тартарары. Она мне больше не принадлежит. Она меня бросает. Нет, это я бросаю в безбрежное море жизни бесценный жемчуг; я всегда знал, что он бесценен. И что же дальше? Что будет дальше – со мной, с ней? Как мне без нее обходиться? Как жить?

Очень сомневаюсь, что мне удастся представить себе хотя бы на йоту, каковы будут последствия нашей разлуки, к чему она приведет. В тот вечер Элизабет ушла, сильно мне досадив и позволив проводить ее только до дверей ее квартиры. Между нами, сказала она, все кончено, и приходить к ней я могу теперь только по утрам обсудить мой рассказ, который она тогда редактировала. Однако не успела она уйти, как я услышал приближающийся стук ее каблучков по асфальту – Элизабет возвращалась.

– Мед, подожди, подожди! – вырвалось у нее. – Возьми мои руки. Пойдем со мной в парк. Мы не можем так расстаться, нет, я – не могу! Не могу! Не хочу! Ох, Мед, Мед! Не могу тебе передать, как мне плохо. – И она припала к моим рукам, и на мои пальцы полились горячие слезы. – Знал бы ты, как мне плохо. Я так предана тебе, Мед, я

верю в тебя, в твои книги. Но ведь ты же никогда не переменишься. Но это ты, Мед, ты! Он не стоит тебя, не стоит твоего мизинца! Думаешь, я это не понимаю? Он замечательный. Но ты – ты мой, Мед, мой! Ты мой бог и навсегда останешься моим богом. Но ты ведь уйдешь, бросишь меня, да?

Я держал ее за руки и плакал. Горько плакали мы оба.

Что произошло дальше? Вот что. Мы дошли пешком до тогда еще строившегося собора Святого Иоанна Благословенного и поднялись на каменный постамент высотой футов пятнадцать – на этом постаменте со временем будет установлен стержень арки, которая поддерживает трансепт.

Мы сели, Элизабет в своем красивом летнем платье и я в хлопчатобумажном костюме, и с грустью вперили взор в звезды. Млечный Путь, Большая Медведица, Малая Медведица, Альтаир, Алголь, Сириус. Внизу, в глубине парка Морнингсайд, затерялась пагода. По 110-й сворачивал, громохоча, трамвай с освещенной буквой L. По Амстердам-авеню неслись, слепя фарами, автомобили и таксомоторы. А под нами, на улице, обнимались влюбленные парочки.

Мы немного успокоились. И тут, сидя в тени огромного собора, вдыхая теплый летний ветерок, глядя на звезды, вечные звезды у нас над головой, мы оба ощутили вдруг нечто вроде чудовищной боли. Я не понимал себя. Я жалел себя. Я не понимал ее. В памяти возникли какие-то мелкие, незначущие эпизоды нашей совместной жизни, сценки, разговоры. Очень может быть, эти воспоминания возникли прежде у нее, а от нее передались мне. Мы оба погрузились в раздумье.

– Я не в силах это переносить! – внезапно воскликнула она. – Нет, не в силах! Не могу! Ох, я должна уйти! Я хочу умереть! – И с этими словами она приложила руки к сердцу.

– Бетти, пожалуйста, не говори так, – взмолился я. – Я тоже не в силах это переносить, это ужасно! Я знаю, я негодяй. И всегда был негодяем. Но я не брошу тебя. Я сделаю все, лишь бы ты не плакала. Прошу тебя, держи себя в руках, не распускайся. Ведь ты не такая, как все, ты умна, как никто, ты знаешь, что такое жизнь. Не я один виноват. Виновата жизнь, Бетти, жизнь! Как же нелегко жить!

– Все кончено, – повторила она, рыдая навзрыд. – Все кончено! Все кончено!

– Нет, нет, нет, – шептал я. – Не говори так, Бетти. Не говори так. Пожалуйста!

– Все кончено! Все кончено! Да, все кончено – для меня!

Спустя какое-то время я отвез ее домой. Она сказала, что через пару дней мы увидимся. И через пару дней мы действительно увиделись. Но что толку? У нас все кончилось. Она это знала, и я тоже это знал. Я не переносил ее мрачных мыслей, ее слез, ее гамлетовских колебаний. И в то же время, когда я вспоминал, как она хороша собой, как мне нужна, как умна, какой веселой, остроумной умеет быть, – мне, несмотря ни на что, мучительно хотелось оставаться с Элизабет, и это при том, что новые увлечения, которым я предавался, сводили на нет мои чувства к ней.

Все дело в том, что она не отпускала меня, держала как на цепи. Я восхищался ей, даже когда она была подавлена, когда злилась, когда копалась, точно Фрейд, в своей и в моей душе. Среди всех мужчин и женщин, которых я знал, не было никого, кто бы своим умом, творческой энергией вызывал у меня такое уважение, как она. Что же до ее красоты, то даже те женщины, кого я предпочел ей, не могли с ней сравниться.

И все-таки я не мог, как ни старался, устоять против притягательной силы жизни, против всегдашней страсти к переменам, ко всему новому, неизведанному. Любовь к жизни манила меня к себе, притягивала, охаживала кнутом, нашептывала, соблазняла: «Будет тебе. Будет. Не выдумывай. Что за вздор? Одна девушка. Одна жизнь. Одна любовь. Однако не делай вид, что ты будешь верен одной, всего одной в целом мире. У тебя молодость. У тебя обаяние. У тебя слава. У тебя поклонницы. Нет, в твою верность я никогда не поверю...»

Книга Сидонии



Это было в конце января или в начале февраля 1913 года. Помню, как, выходя из поезда на станции Харрисон-стрит, я сравнивал сырой, холодный, задымленный воздух Чикаго с почти совсем еще чистым воздухом тогдашнего Нью-Йорка.

В Нью-Йорке, откуда я приехал в Чикаго, у меня не все складывалось благополучно. Я только что закончил «Финансиста», и, хотя ни меня, ни Элизабет текст романа не устраивал, вынужден был отдать роман в издательство, чтобы было, на что жить и работать над «Титаном», моей следующей книгой.

Материалы к «Финансисту», насколько я знал, можно было отыскать в подшивках самых крупных чикагских газет с 1880 года. А также, как оказалось, – в памяти жителей Чикаго: издателей, коммерсантов, священников, юристов и политиков, всех тех, кто знал Чарлза Т. Йеркса и кому я, чтобы познакомиться, заблаговременно отправил рекомендательные письма, и, как выяснилось, не зря.

От одиночества я тогда страдал не слишком. Элизабет мне надоела, и я ее с собой не взял. Что же касается Аглаи, то, хотя наши отношения последнее время усложнились, я без нее, пожалуй, скучал; уехать со мной из Нью-Йорка она никак не могла.

Из всех американских городов Чикаго навсегда останется моей первой любовью; я без усталости бродил по городу, разглядывая дома и улицы, где некогда предавался юношеским мечтаниям.

Вот здесь я когда-то работал! На этом углу я стоял в рождественский вечер, проклиная себя за неумелость и раздумывая, что мне делать дальше. У этой двери я в поисках работы в нерешительности переминался с ноги на ногу, боясь, как бы меня в очередной раз не «завернули». У витрины этого ресторана я стоял,

завистливо поглядывая на тех, кому больше повезло в жизни. Тогда я еще находился в плену иллюзий: мне казалось, что вкусная еда, модная одежда, деньги – предел мечтаний. Ну а теперь я вернулся сюда написать о тех болезнях, которые никакими деньгами не вылечишь.

И вот, не прошло и двадцати четырех часов, а я уже въехал в квартиру, о которой можно было только мечтать: две огромные комнаты с ванной в большом старом доме на Норт-Шорт-драйв. Под окнами росли невысокие, запорошенные снежком ели, а за ними открывался вид на необъятных размеров озеро, над которым парили чайки и по которому время от времени проплывал пароход. Отсюда я ходил по редакциям газет, работал в архивах, которые местные газетчики называли моргом, встречался с издателями, со всеми, кто мог бы мне помочь в моих разысканиях. Иными словами, вращался в кругу людей, знавших про меня и про то, о чем я пишу.

Из всех этих людей больше всех заинтересовал меня стройный подтянутый мечтательный молодой американец Уэбб Коллинз, в котором было что-то от Стивенсона. Он рассказал мне, что родился в Чикаго и в настоящее время заведует литературным отделом в одной из чикагских газет.

– Хотите, поговорим о старом Чикаго? – как-то предложил он мне. – О Чикаго, где писали Юджин Филд, Генри Блейк Фуллер, Джордж Эйд и другие^[9]. Коллинз так увлек меня своей непринужденной, непритязательной манерой держаться, своей сердечностью, что я согласился.

Рассказывал он мне, причем так же живо и интересно, и о Чикаго сегодняшнем. Город переживал литературный ренессанс. Но явлением, пожалуй, наиболее интересным был небольшой экспериментальный театр, занимавший студию в одном из многоэтажных зданий в центре города. Я о таком театре слышал впервые; да, я обязательно должен там побывать, посмотреть, что ставит на его крошечной сцене труппа актеров-любителей под руководством режиссера из Англии, который счел, что для его экспериментальных постановок лучшего города, чем Чикаго, не найти.

Готов ли я пойти с ним завтра на спектакль «Троянские женщины»? Он познакомит меня с молодой талантливой актрисой, звездой труппы.

И вот вечером следующего дня мы пришли в студию к началу спектакля. К моему немалому удивлению, спектакль по мрачной и

жестокой трагедии Еврипида превзошел все ожидания, постановка была просто великолепна, чувствовались серьезность и глубина режиссерского замысла.

Среди актеров – в них все было безупречно: и ритм, и костюмы, и жесты, и движения – выделялась одна молодая женщина: обращала на себя внимание низким голосом, а также фигурой и поступью. Играла она Андромаху и поражала не только величественными жестами, позами, тем, как подает себя, как держится, как обращается со своим младенцем Астинаксом, но и какой-то непередаваемой меланхолией. На вид ей было лет тридцать – тридцать пять, однако, когда я обратился к своему молодому приятелю с похвалой в ее адрес, он сказал:

– Да, это Сидония Платов. Вы не поверите, но ей всего девятнадцать лет.

– Да, верится с трудом, – отозвался я.

– Вот и мне тоже не верится, когда я вижу ее на сцене. Похоже, что ей доставляет удовольствие скрывать свою молодость. Я не знал ни одной актрисы, которая умела бы так и хотела перевоплощаться. Тщеславной ее никак не назовешь. Видели бы вы ее в «Проделках Анатоля», – там она совершенно другая, на себя не похожа. Здешные критики от нее без ума.

На комплименты не скупится, подумал я. Сразу после окончания спектакля меня пригласили познакомиться с труппой. Все актеры собрались в холле, своего рода гостиной, в дальнем конце студии. Все, кроме мисс Платов. Мы разговорились, а ее все не было. И тогда юный Коллинз предложил, чтобы все, кроме него, пошли в ближайший ресторан, а он дождетс мисс Платов и приведет ее.

Мы медленно, не торопясь спустились с восьмого этажа, со мной рядом шла молодая актриса, с которой меня познакомили всего несколько минут назад. Не успели мы выйти на улицу, как появились Коллинз и мисс Платов – высокая, изящная, с движениями и грацией пантеры. И еще, это я заметил сразу, в ее голосе, когда она говорила не со сцены, была какая-то теплота, отзывчивость, что-то мягкое, мелодичное. Мы двинулись в сторону ресторана, но теперь с молодой актрисой шел Коллинз, а я – с мисс Платов. По пути мы о чем-то говорили: сейчас и не вспомню, о чем, – о спектакле, об актерах, о древних греках. Больше всего мне запомнилась не ее плавная,

ритмичная походка, а энергия, порывистость молодости, легкость, жизнерадостность. От Андромахи у нее ничего не осталось, сейчас от нее веяло молодостью, она была красива и уверена в себе. В то же время было в ней что-то арабское, мне неведомое. Кто бы мог подумать, тем более предсказать, что в течение нескольких лет, зимой, весной, летом и осенью, мы будем неразлучны.

Ресторан, куда мы вскоре пришли, оказался пошловатым немецким заведением, обставленным под Средневековье. Коллинз тут же взял Сидонию под руку и усадил рядом с собой. Я сел напротив, рядом с молодой актрисой, той самой, с кем Коллинз шел в ресторан. Ее имени я не запомнил. В отличие от смуглой Сидонии с классическими чертами лица актриса была светловолоса и вид имела сугубо американский. Какие же разные были у них голоса! Актриса говорила сто слов в минуту, бойко, по-американски; у Сидонии же голос был мягкий, убаюкивающий. И еще одно различие. Сидевшая рядом со мной лихая платиновая блондинка была, сразу видно, очень сексуальна и умела себя подать, тогда как чувственность Сидонии была до времени скрыта, обнаруживала себя не сразу.

Она нравилась мне все больше, и я ловил себя на том, что время от времени встречаюсь с ней глазами. Да, наблюдал я за ней с интересом, однако на следующий день намеревался пригласить на ленч не ее, а блондинку. И хотя весь смысл завтрашнего ленча заключался в сексуальности мисс У. (назовем ее так), Сидония Платов привлекала меня куда больше, отчего, должен признаться, мои отношения с мисс У. не выиграли.

Мать Сидонии, рассказала мне мисс У., родом из Коннектикута и одно время работала то ли клерком, то ли стенографисткой. Мистер Платов, когда-то нищий галицийский еврей, впоследствии преуспел, остепенился и в Чикаго был фигурой весьма заметной.

Затем разговор зашел о режиссере Малого театра, и я вполуха слушал, как мисс У. им восторгается. Он был из Лондона. Или из Манчестера? Без средств к существованию, он сумел, однако, заинтересовать не только городских меценатов, но и молодых людей, мужчин и женщин, с актерскими способностями. Блондинке и впоследствии Коллинзу я дал понять, что режиссер этот очень меня заинтересовал, и вскоре после этого я был приглашен на деловую встречу в помещении театра. На этом чаепитии должны были

присутствовать режиссер и его жена. В небольшой переговорной комнате, своеобразном салоне, я сошелся за чашкой чая с людьми самыми разными: поэтами, прозаиками, критиками, художниками, актерами, в том числе и с Сидонией.

В тот день она была в чем-то красном с черным и смотрелась полуиспанкой-полуамериканкой; короткие черные, цвета вороного крыла волосы обрамляли ее запоминающееся породистое овальное лицо и полную округлую шею.

Ее вид – и это при том, что собрались мы вовсе не развлекаться, – поразил и даже взволновал меня. Несмотря на всю важность нашей деловой встречи за круглым столом, где британский режиссер сидел напротив меня, излагал мне свои идеи и планы и отвечал на мои вопросы, я ни на минуту не упускал из виду эту девушку. Бесшумно передвигаясь у нас за спиной, она то задегивала шторы, то ставила цветы в вазу, то вносила какое-то блюдо и иногда замирала, вслушиваясь в то, о чем мы говорим.

Когда встреча подошла к концу, я к ней подошел.

– Судя по всему, вам не хотелось принимать участие в нашей беседе, – сказал я.

– Да, я обещала кое-чем помочь, к тому же немного опоздала.

– Я не спускал с вас глаз.

Она лишь улыбнулась.

– А сейчас, надо полагать, вы пойдете в ресторан ужинать, – сказал я.

– Да, меня пригласили.

– И поменять свои планы вы не можете?

– Ради чего?

– Не чего, а кого. Ради меня.

Она посмотрела на меня, а я посмотрел на нее. По ее словам, по дрогнувшим ресницам видно было, что она колеблется. А потом сказала:

– Хорошо, – так, будто это решение далось ей нелегко.

Я обрадовался – неожиданно для себя самого. Было во всей этой ситуации что-то забавное, веселое. Я предложил ей пройтись, и Сидония ответила:

– Хорошо, сейчас пойдём. Понимаете, мне надо пораньше вернуться, чтобы успеть загримироваться. В этой роли на грим уходит

много времени.

И с этими словами она куда-то убежала и через минуту вернулась в долгополой синей пелерине и в темно-синей мальчишеской фетровой шляпе, лихо надвинутой на черные волосы и темно-карие глаза.

Как же прекрасен Чикаго зимним вечером! Темнеет рано. Шуршащий, похожий на пудру снег. И высоченные стены домов, и тысячи огней на бесконечно длинной, уходящей за горизонт, широченной набережной!

Я предложил пойти на юг, к озеру, мимо вокзала Иллинойс-Сентрал. Она шла со мной вровень, широким легким шагом. Мы вышли на берег, и на фоне ледяной черноты бурного озера она представилась мне каким-то бродягой, что смотрит не отрываясь на море жизни, то переливающееся на солнце, то погруженное во мрак. Мы поднялись на небольшой мост, перекинутый через железнодорожные пути, и она повернулась посмотреть на магию сверкающего огнями города.

– Прекрасный бы получился городской пейзаж, – сказала она. – Но он слишком тривиален – изобразить этот вид можно было бы только символически, вам не кажется?

– Верно. Так вы еще и картины пишете?

– О нет! Так, пытаюсь иногда нарисовать кое-что.

Эти слова она произнесла с такой юношеской снисходительностью, той непередаваемой снисходительностью, в которой заключаются сила и права молодости.

– Рисуете и играете в театре, – продолжал я, улыбнувшись.

– Да, играю, и довольно посредственно.

– Нет! Нет! Можете говорить что угодно, я вам все равно не поверю.

– Вот видите, мы только познакомились, а вы уже меня браните.

– Нет, восхищаюсь вами. Вероятно, еще и стихи пишете?

– Увы, нет. А очень бы хотелось.

– И танцуете.

– Ах как же я люблю танцевать! Хочу учиться танцам.

Мы подошли к ресторану, который находился на последнем этаже высокого здания. Глядя на тысячи огней внизу, о чем мы только не говорили! В Малом театре она всего год, но о ней только и разговоров, ее хвалят и драматурги, и поэты, и прозаики, и художники – очень,

очень многие. Ее родители, мать особенно, всегда были противниками актерской профессии, хотели, чтобы Сидония, как и ее сестра, училась в каком-нибудь колледже на востоке. А она не хочет. Мечтает, поработав здесь, поехать в Нью-Йорк и устроиться в большой коммерческий театр. Разумеется, если родители не будут против.

И я представил себе птенца, что, испуганно озираясь, выглядывает из своего театрального гнезда, готовый испытать свои крылышки.

Я не мог отделаться от ощущения, что Сидония еще очень незрела, но своей прелестной поэтической незрелостью, девичьей неопытностью она импонировала мне. Да, еще совсем дитя, но умна, пытлива. Ах, беспредельная свежесть, энергия молодости! За спиной еще нет душевных травм и разочарований; впереди лишь надежда на счастье. Этой надеждой искрились ее глаза. Казалось, о жизни она мечтает интуитивно, совсем ее не зная. Но она много чего прочла – о да. Видно было, что она о многом догадывается, что-то подозревает, но чисто интуитивно. Оптимист по натуре, романтик, она гнала от себя все грубо материальное и верила только в красоту, в ее силу, в ее конечную победу. И почти тут же у меня родилась мечта. А что если, сказал я себе, помочь ей, просветить ее, чему-то научить? Почему бы и нет? Ведь так важно, чтобы с возрастом она не утратила своей детскости, романтики. Не мог бы я что-то для нее сделать? Стать ее другом, сохранить то, что в ней есть, и ничего не требовать взамен?

Между тем шел уже восьмой час, ей надо было торопиться в театр. Перед тем как выйти из ресторана, мы заговорили о будущем. Она должна снова со мной встретиться и побольше рассказать о себе. Меня всегда можно застать в библиотеке – я сижу там допоздна, если не иду ужинать в ресторан. А позвонить я ей не могу? Она дала мне свой адрес и домашний телефон.

У входа в театр мы расстались, но ненадолго: я поднялся в зрительный зал и еще раз посмотрел ту же пьесу, мне хотелось узнать о Сидонии побольше. После спектакля я вернулся к себе, сел работать, но, пока писал, продолжал о ней думать. И не столько об одинокой Андромахе Еврипида, сколько о совсем еще юной девушке в синей, до пола пелерине и в смешной фетровой шляпе.

И вот что еще вспомнилось мне в связи с нашей дружбой, которая с каждым днем становилась все тесней и тесней. Коллинз – тот самый, кто меня с ней познакомил, – побывал у меня после нашей последней

встречи и признался, что очень к Сидонии привязан. По тому, как он о ней говорил, становилось ясно: хотя Коллинз женат и у него есть ребенок, Сидония – и как женщина, и как актриса – ему совсем не безразлична. Любопытно еще одно. О чем бы мы с Сидонией ни говорили, речь всякий раз заходила о Уэббе – правда, в легкой, непринужденной манере: Уэбб сказал то-то, Уэбб подумал так-то.

– По-моему, Сидония, – отважился я однажды задать ей этот каверзный вопрос после некоторого тревожного раздумья, – этот Уэбб Коллинз вам очень нравится. Я прав?

– Ах, Уэбб совершенный младенец, – ответила она как бы невзначай. – Да, он мне очень симпатичен, он такой добрый, такой благородный. И потом, он влюблен в театр и прекрасно в нем разбирается. В прошлом году он сыграл у нас пару второстепенных ролей, к тому же, помимо всякой другой работы, занимается нашими костюмами, нашим реквизитом и придает этому большое значение.

– Благородный! – повторил я за ней не без некоторой ревности, сам же подумал, что Коллинз и в самом деле обаятельный мужчина, и почему бы девушке, любой девушке, в него не влюбиться? В процессе нашего разговора выяснилось также, что ее дружба с Уэббом продолжается уже больше года. Впрочем, у меня не было никаких доказательств, что Уэбб для нее нечто большее, чем хороший, верный друг.

И вот как-то воскресным вечером, на вечеринке в квартире Коллинза, я познакомился с его женой и с несколькими талантливыми начинающими актерами. Гости громко, задиристо спорили, делились идеями и планами, наперебой цитировали известных людей, читали стихи, аплодировали, распевали песни. Девушки и юноши обменивались загадочными взглядами, смысл которых оставался мне непонятен.

Как же все они молоды и красивы! Забыт Нью-Йорк, забыты Аглая и Элизабет, все, с кем я еще совсем недавно был близок. Мне стало казаться, что здесь, в Чикаго, я пробуду еще очень долго, останусь навсегда. Причина номер один: Сидония. Причина номер два: юная цветущая блондинка, жена молодого издателя, которая сумела заставить меня забыть даже Сидонию – пусть всего на один вечер. Я заметил любопытство (а возможно, даже упрек) в глазах Сидонии, за

нами наблюдавшей. И еще я заметил, что она с Коллинзом говорит вполголоса, как-то вкрадчиво и многозначительно.

Цветущую блондинку я подверг форменному допросу. Между ними только сейчас установилась такая близкая эмоциональная связь или же эта связь была и раньше?

– Вы что, не знаете, – сказала в ответ цветущая блондинка, – у них роман уже без малого год. Сельма (жена Коллинза) собирается даже из-за Сидонии с ним развестись.

Черт возьми! Проклятье! Я-то себе вообразил, что Сидония невинная овечка, боялся ей лишнее слово сказать: не дай бог, потревожу ее молодость, невинность. И на тебе: оказывается, она принадлежит другому, – кто бы мог подумать! Надо же быть таким романтическим ослом! Ну да бог с ней! На ней свет клином не сошелся! В Нью-Йорке меня ждут другие, ничуть не хуже. К тому же здесь у меня работа. Соберу материал – получится интересно. Пора бы угомониться. В конце концов, я ведь писатель и писателем останусь, ну а женщины – дело наживное!

И все же по дороге домой в отцовском автомобиле, присланном за ней и за ее друзьями, жившими в том же районе, мне было как-то не по себе. И когда последний ее знакомый вышел из машины и мы остались одни, она спросила:

– Не заедете ненадолго ко мне? Еще ведь не поздно.

– Боюсь, что нет. Дела, знаете ли. Не высадите меня на ближайшей остановке трамвая?

– Что ж, дело ваше, – с некоторым вызовом, даже с обидой отозвалась она. И, взяв в руку трубку, обратилась к водителю: – Уиллс, будьте добры, притормозите на остановке «Тридцать первая улица».

После чего надолго замолчала. А я всю оставшуюся дорогу мучился; какие только мысли – негодующие, печальные, жалостливые – не толпились у меня в голове.

Когда же до остановки «31-я улица» оставалось всего пару кварталов, до меня донеслись слова:

– Объясните, в чем дело? – Говорилось это с чувством, в голосе звучали трогательные, ласковые, скорбные нотки, и я почувствовал, что она внезапно и совершенно неожиданно ко мне расположилась. – Ах, что случилось? Почему вы ко мне так переменились? Вы за что-то на меня сердитесь?

– Я? Сержусь? За что мне на вас сердиться? Какое право я имею сердиться?

– Но вы ведь и в самом деле переменились: вы были совсем не таким, когда мы выходили из гостей.

– Вы находите?

Она отвернулась, и я видел, что в ней происходит какая-то нешуточная борьба. Значит, я ей все-таки небезразличен. Странно слышать от нее такие признания!

– Как бы то ни было, через пару дней я уезжаю из Чикаго. Должен вернуться в Нью-Йорк, у меня там полно дел.

Я ревновал, и тем не менее решил, если удастся, покончить со всей этой историей.

И тут она вдруг горько разрыдалась. Как же я был тронут этим бурным проявлением чувств, тоски, какого-то мучительного желания. Оно-то и тронуло меня больше всего. Что же она за существо такое? Она что же, влюблена в двух мужчин одновременно и собирается нас обоих водить за нос? Каково! Ничего страшного, уеду, и все кончится. И тут, продолжая рыдать, она, словно через силу, добавила:

– Что ж я такого сделала? А я-то думала, мы будем друзьями, близкими друзьями. – И она громко всхлипнула.

Наступит ли день, когда мужчина будет безразличен к женским слезам? Я – нет. Ее горькие, безутешные слезы вызвали у меня бурю эмоций, самых путаных, противоречивых мыслей, меня до глубины души проняла ее искренность, ее идущее от самого сердца девичье простодушие. В то же время меня мучила одна мысль: нет, вовсе она не невинна, как я думал, на самом деле это хитрая, коварная обманщица, себе на уме. Но отчего я так злюсь – ведь я не ждал от нее никаких милостей, не рассчитывал на них? Не оттого ли, что надеялся завоевать ее сердце?

Подобные мысли меня преследовали, не давали покоя, но ведь все решилось само собой. Она принадлежала Коллинзу, а может, и не ему одному. Вот и пусть ему принадлежит.

И тем не менее ее поэтическое, физическое обаяние, которое с самого начала так меня заинтриговало, никуда не делось. Даже сейчас достаточно было одного взгляда в свете уличного фонаря на ее лицо, на руки, которыми она закрывала глаза, на короткие черные спутанные волосы, падавшие на глаза, на шляпку на коленях.

– Скажите, что между вами и Уэббом Коллинзом? – прервал молчание я. – Насколько я помню, вы сказали, что он ваш друг, не более того, что вы испытываете к нему исключительно дружеские чувства.

– Так и есть! Так и есть! – Эти слова она произнесла без малейших колебаний, не задумавшись ни на мгновение. – Именно так, как я и сказала. Он мне нравится, и только.

– Сидония! Как вы можете говорить такое! После всего того, что я слышал сегодня вечером, чему я был свидетелем. Вы хотите сказать...

– Да, он мне нравится, и даже очень. И всегда будет нравиться. Но я его не люблю.

– И вы с ним не близки?

– Этого я не говорила. – И эту фразу она произнесла совершенно спокойно, как если бы обвинение в близости не имело никакого значения.

Забавно, что эта ситуация – если не считать моего ущемленного тщеславия, несостоявшейся мечты о ней – представляла для меня второстепенный интерес. Во мне словно соединились два человека. Один страдал от того, что рухнула его мечта о совершенстве; другой был ушлым и циничным соглядатаем, который прекрасно знал, что мечта о совершенстве ничего не стоит. И этот второй человек, глядя на Сидонию, с цинической ухмылкой наблюдал за ее страданиями и нисколько ей не сочувствовал. И его нисколько не заботило, что первый человек, находящийся рядом с ним, так мучается.

Всю оставшуюся дорогу она, не вдаваясь в детали, рассказывала мне, как они с Коллинзом познакомились, как он ей понравился и поэтому... Получилась история очень невеселая. Какой-то доброхот написал ее отцу, и тот призвал Коллинза и Сидонию к ответу. И Уэбб, в ее присутствии и по ее просьбе, во всем ее отцу признался и согласился развестись с женой и на Сидонии жениться.

После этого нелегкого разговора отец их простил, на браке настаивать не стал, посоветовал впредь вести себя благоразумнее и решил скрыть всю эту историю от матери. Когда же Сельма, жена Уэбба, узнала правду (посредством того же подметного письма), то, как и родители Сидонии, отнеслась ко всей этой истории довольно спокойно, потому что понимала: Уэбб еще очень молод и сам не знает,

чего хочет. Но поскольку он больше жену не любил (осталась одна дружба), она решила с ним развестись.

Я все это слушал и расставался с романтическими иллюзиями, в том числе и своими собственными.

– Но вы ведь остались друзьями, иначе он не пригласил бы вас к себе домой в эту компанию.

– Конечно. Сельма мне нравится, да и я, по-моему, нравлюсь ей. Мы дружим.

– Но с Уэббом вы продолжаете встречаться?

– Нет, больше мы не встречаемся.

– И давно?

– Как вам сказать... С тех пор, как вы впервые появились в театре, если хотите знать.

– А почему?

– Потому что я думала, что, может быть, вам понравлюсь, а вы понравитесь мне. Я подумала, что вам будет неприятно, что мы с ним встречаемся. – И, помолчав, добавила: – Я давно собиралась вам об этом сказать, если вдруг спросите.

Ее простосердечие не могло меня не позабавить. Что ж, возможно, она и в самом деле не очень его любила. Должен сказать, что это юношеское простосердечие меня разоружило и, пожалуй, даже пленило. Да, что ни говори, а жизнь разочаровывает буквально на каждом шагу. Но, как я не раз повторяю, не мне жаловаться на жизнь. И тут у меня возникла соблазнительная мысль. Раз я ей так нравлюсь, о чем она мне прямо сказала, значит, у меня не будет препятствий для... Вы догадываетесь, что я хотел сказать.

Пока же она сидела рядом со мной, откинувшись на сиденье, и глаза ее были полны слез. Потом, придвинулась ко мне, спросила: если с Коллинзом у нее все позади, я останусь? Да, ответил я, да, тогда останусь. (А в голове у меня была некая вполне определенная мысль – какая, уверен, вы понимаете.) И тут ее охватило радостное возбуждение, столь бурное и неожиданное, что я даже встревожился: куда только девалась вся ее меланхолия, подавленное настроение. Что бы это могло значить?

Был уже второй час ночи, когда мы вышли из машины у дверей ее дома. Сидония бросилась включать всюду свет и побежала наверх рассказать отцу, или матери, или им обоим, что я привез ее домой и

она даст мне выпить. Ко мне она вернулась в прекрасном настроении, чему, надо полагать, в немалой степени способствовали пудра и румяна, которыми она не преминула воспользоваться. По дому она порхала с таким видом, будто не знает – и никогда не узнает, – что такое жизненные невзгоды. В эти минуты она напоминала мне бархатистую, черную в серебре, беззаботно порхающую бабочку.

Вскоре на столе появились кофе, хлеб, сыр, пирожки и джем. А за столом сидела она и во все глаза смотрела, как я буду есть. Веселый пытливый взгляд карих глаз. И я сразу же испытал чувство, радостное и в то же время болезненное (ибо между восторгом и болью немало общего), что наши отношения претерпевают в эти минуты серьезные изменения. То же чувство, судя по ее учащенному дыханию, испытывала и она. Помню, как Сидония спросила меня, буду ли я продолжать работать в библиотеке. И я ответил утвердительно: мол, да, собираюсь, во всяком случае, еще некоторое время, – но зависит это от нее. Мы помолчали. А потом нас обоих внезапно охватило какое-то тревожное смятение.

И тут я взял ее изящную ручку обеими руками. Ей и правда важно, чтобы я остался? (Да, важно.) Она готова расстаться с Коллинзом? (Да, готова.) А как быть нам? (Она притворилась, что не поняла вопроса, и вперилась в пол.) Тогда я встал, подошел к ней сзади, нагнулся и, откинув ей назад голову, чтобы видеть выражение ее лица, погладил ее по шее и по щеке, отчего она вдруг снова горько заплакала: уронила голову на руки, тело ее содрогалось от неудержимых, истошных рыданий. Я отпустил ее голову. Как понимать эту нежданную бурю эмоций? Она обманывала меня, когда говорила, что равнодушна к Коллинзу? А ко мне? Как она относится ко мне?

Чего я только не говорил, чтобы привести ее в чувство! Если ей так хочется, мы останемся просто друзьями. И тут она вдруг встала и посмотрела на меня своими длинными озорными азиатскими глазами.

– Дорогой мой, пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания. Я плачу, но это потому, что обещала себе и своему отцу, что, расставшись с Уэббом, никого никогда больше не полюблю. – Подбородок у нее дрожал. – Но это неважно, говорю же вам, сейчас это не имеет никакого значения. Ничего не могу с собой поделаться; не обращайтесь внимания, это скоро пройдет. А сейчас вам лучше уйти, я ужасно

волнуюсь. Завтра утром я приду к вам в библиотеку. Тогда и поговорим.

Сначала я было подумал, что она страдает от угрызений совести, раскаивается в своей связи с Коллинзом, но когда она подошла ко мне вплотную, положила мне голову на плечо и я пристально посмотрел ей в глаза, все мои сомнения развеялись.

Поцелуи и объятия. Она обнимает меня. А потом мы идем в центр города. Перестук колес товарных поездов, заунывные свистки далеких паровозов, нескончаемый ночной поток машин, от которых стоит звон в ушах. И неотвязные мысли – и по дороге, и потом, в постели. Получается, я и в самом деле заменил ей красавчика Коллинза? (Его бы это устроило, не правда ли?) Мне-то зачем все это? Как будто у меня и без нее мало романов! А как теперь быть с Элизабет и с Аглаей? И сколько времени мне еще жить в Чикаго? И как мои отношения с Сидонией скажутся на работе? Ведь я имею дело с молодостью, пылкой молодостью. Возможно, еще не поздно, я могу отступить, объяснюсь, напишу покаянное письмо. Я думал об этом, когда шел по городу, когда лежал в постели. И понимал, что этого не сделаю. Я вспоминал, какой у нее был вид, когда, перегнувшись через стул, я гладил ее по щеке. Завтра, или послезавтра, или через два дня... Скоро, совсем скоро... И я погружался в мечты. Ни философия, ни мораль, ни религия тут не помогут – так уж устроен человек. Сколько бы мы, я в том числе, ни сердились, ни раскаивались, ни предавались сомнениям и страхам, ничего изменить все равно нельзя. И я, и Сидония, и Уэбб будем и впредь вести себя так, как себя ведем, какие бы препятствия, социальные или религиозные препоны, ни вставали у нас на пути.

И наутро она пришла. Когда мы встретились, от ее вчерашнего волнения, робости – того, чего я так боялся, – не осталось и следа. Она была радостна, весела, как будто ничего не произошло. И вопросов про меня не задавала. Мне всегда было интересно, отчего это происходит: по привычке или из-за какой-то задней мысли. Пришла и со всей чистосердечностью заявила, что сегодня делать ей, в общем, нечего, до семи она свободна. Не поехать ли нам куда-нибудь? Здесь неподалеку, в Индиане, есть красивое место, туда можно быстро доехать поездом. Песчаный берег озера, нанесенные ветром дюны, низкорослые кривые сосны. Поедем? Сегодня хмуро, ветрено, но на

озере чайки, издали видны корабли. Чайки, вода и песок цвета меда. Мирно, красиво, живописно.

Договорились. И вот мы уже идем среди дюн с человеческий рост и покوروبившихся сосен. Идем и говорим про «Скитания Ойсина»^[10], про «Парня из Шропшира»^[11]. Или про некоего поэта Эрнеста Доусона^[12], он умер уже лет двенадцать назад, а то и больше, и только теперь его тоненькая книжка стихов, особенно стихотворение «Синара», пришлась по вкусу впечатлительным любителям поэзии. Сидония взяла с собой Доусона и «Парня из Шропшира», чтобы почитать вслух.

Мы были далеко от города, говорили о высоком. И настроение, в котором она находилась накануне, забылось. Все вчерашнее куда-то подевалось – и не только для меня, но и для нее. Когда она читала мне вслух, я ощущал жаркое, расслабляющее предчувствие чего-то на нас надвигающегося. Что меня сдерживало? То ли озеро, дюны и сосны, то ли «Парень из Шропшира» и его родные места, то ли Доусон, который никак не мог забыть свою Синару.

На обратном пути с помощью непостижимой химии сексуального влечения мы добились чего-то совсем другого: податливой, утешительной, восприимчивой любви. И все-таки все происходящее казалось мне странным. Были ли мои любовные переживания так уж велики? Ведь теперь стало совершенно ясно: для Сидонии наши отношения были скорее духовными, чем плотскими, а значит, неизменными, тогда как неизменность, постоянство претили мне, не были мне свойственны. И это меня угнетало: моя ветреность в сравнении с ее прекраснодушным постоянством. В то же самое время, стоило мне с ней расстаться, задуматься о том, что она собой представляет, как меня вновь охватывали бурные, приближающиеся к экстазу любовные чувства.

Как же она хороша! Как же любвеобильна! И то в ней прекрасно, и это! Я был влюблен не на шутку, только о ней и думал – и на вечеринках, в гостях у кого-то из ее друзей, и во время долгих вечерних прогулок. Какой подъем я испытывал, когда мы встречались! Как же она была умна, прозорлива – точно свет в ночи! Как молода и вдохновенна! Как беззаботна и жизнерадостна!

А время меж тем шло, мои архивные разыскания подходили к концу, пора было возвращаться в Нью-Йорк. Ведь разве не в Нью-

Йорке сосредоточились мои литературные и светские увлечения? Мои деловые и человеческие связи? Элизабет? Аглая? Из Нью-Йорка мне приходили письма, много писем. Вот только читал я их невнимательно, а иной раз откладывал, и вовсе не читая. Думал о том, как же сложна жизнь. И то сказать как бы ни был я привязан к Сидонии, Элизабет была одно время моей мечтой, моей усладой, пусть и мучительной, тягостной. И Аглая. И другие. Не мог я не думать и о том, как же сложны и вместе с тем забавны и увлекательны бывают эти многочисленные связи: – а ведь обществом они не поощряются, – не мог не думать, однако своих жизненных принципов не менял.

До моего отъезда было еще несколько недель, а Сидония уже раздумывала, как ей жить дальше; раздумывала и обращалась ко мне за советом. Как я догадывался (и даже боялся), она хотела, раз я уезжаю, как можно скорее тоже уехать в Нью-Йорк. Но как это устроить? Ведь в городе уже шли разговоры, что у нее со мной роман, и ее родители, заподозрив недоброе, задавали ей вопросы. В том случае если она решит ехать со мной, они могут (и наверняка это сделают) нанять детективов, платных агентов, которые поедут вслед за нами и установят за нами слежку.

Ее отец был человеком практичным, а ведь имелся еще и Коллинз: уж он-то знал, что происходит, мучился ревностью и пытал Сидонию, собирается ли она уехать, когда уеду я. И еще одно обстоятельство. Чтобы жить в Нью-Йорке и искать работу в театре, Сидонии потребуются деньги, и немалые, и если отец ее простит, его можно будет уговорить финансировать ее летнее путешествие. И тогда она ко мне приедет. Но о том, чтобы расстаться хотя бы на месяц, не могло быть и речи. Правда? Ведь я тоже так считаю? Не мог бы я пробыть здесь до мая? Я бы переехал в другую квартиру, и она бы ко мне потихоньку приходила. (Эти слова вызвали у меня улыбку.) А может, я не хочу здесь оставаться и ее разлюбил?.. Может, ей все бросить и поехать со мной?

Когда я задумался о практической стороне дела, она тут же пересмотрела свои планы. Ну что ж, ничего страшного! Не всю же жизнь играть в Малом театре! На этот счет никаких сомнений у нее нет. Нью-Йорк – совсем другое дело, тут поле деятельности гораздо шире. И если она хочет, чтобы из нее что-то получилось, с поездкой в Нью-Йорк затягивать не стоит. Поэтому, если я и в самом деле должен

уехать, что ж, тогда она останется здесь, возможно – хотя ей будет это очень нелегко – до конца сезона, а тем временем попытается договориться с отцом, чтобы тот оплатил ее летнюю поездку в Нью-Йорк. В Нью-Йорке живет ее дядя, у нее там много друзей, сестра учится в колледже. И летом она возьмет и приедет ко мне – надолго ли, неизвестно. И Сидония от радости захлопала в ладоши. Летом ей наверняка удастся получить ангажемент, ведь правда? И тогда она сможет остаться в Нью-Йорке. Вот что значит оптимизм молодости!

Если память мне не изменяет, я пытался отговорить ее от этой затеи. Она же еще так молода. Проработай она под руководством своего наставника еще год-другой, ее талант окончательно бы сформировался, приобрел законченные черты, и ей было бы легче добиться успеха в театральном мире. Пока же она витает в облаках и, что еще хуже, разбрасывается. У нее слишком много достоинств: молодость, красота, редкая сообразительность, разносторонние способности. Она ведь не только играет на сцене, но еще и танцует, рисует, режет по дереву, а еще, о чем я догадывался, пишет. В ее письмах и записках, адресованных мне, чувствовались не только интуиция и ум, но и чувство слова – умение, которое дано далеко не каждому.

Но, что бы я там ни думал, наших планов – и моих, и ее – это не меняло. Одержимость – вот что владело нами обоими. Не вызывало сомнений только одно: в соответствии с контрактом, который она подписала годом раньше, ей необходимо доработать до конца сезона. Впрочем, и этот план вряд ли был бы реализован, если бы незадолго до моего отъезда ситуация не изменилась. Малому театру, впервые в его истории, предстояло отправиться на гастроли. Дело в том, что за время существования Малого театра подобные труппы появились и в других городах: в Филадельфии, в Бостоне. Заинтригованные успехом чикагской труппы, филадельфийский и бостонский театры пригласили к себе режиссера и актеров Малого театра; мало того – взяли на себя все расходы. В Бостоне Малый театр ждали в начале апреля, поездка в Филадельфию планировалась на более поздний срок.

Перспектива – лучше не придумаешь. Сидония была сама не своя от счастья, да и ее родители о таком повороте событий не могли и помыслить. Неужели едет вся труппа? Какая удача! Теперь, когда гастроли намечались на самое ближайшее время, я мог со спокойной

душой собраться в дорогу. Сидонии было не до меня – и слава богу! Таким образом, в моем распоряжении был примерно месяц, чтобы успеть вернуться в Нью-Йорк, устроить дела, личные в том числе, и подготовиться к ее приезду.

В моей жизни не было еще ни одного месяца, когда бы мне понадобилось столько такта и дипломатичности. Какие трудности приходилось преодолевать! Сколько врать! Но мне бы не помогли никакие ухищрения, если бы мои подруги, женщины решительные и своевольные, к этому времени во мне не изверились.

Их чувства. Их желания. Желания любого человека. Мои в том числе. Один страдает, сетует на жизнь – и подчиняется воле другого, действует по его указке. Как себя поведет он или она? Позвонит по телефону? Напишет? Будет волноваться? Где сейчас он или она? Что делает? С кем разговаривает, шутит – пока ты, я ждем, мечтаем, страдаем, терпим?

Как же часто я, как и любой другой, подвергался этой чудовищной пытке! И, несмотря на все эти мучения, довольствовался теми крохами, которыми меня удостаивали. Как и любой другой на моем месте.

Сидония написала мне, что в апреле выезжает в Бостон через Олбани в сопровождении режиссера и его жены: они обещали ее родителям за ней присмотреть. Хотя за ней скорее всего будет установлена слежка, ситуация – писала она мне незадолго до отъезда – совсем не так плоха. В труппе было по крайней мере две девушки, которые отказывались ехать, если и за ними тоже будут присматривать, и Сидония решила этим воспользоваться: они будут приглашать друг друга к себе в номер или договорятся идти вместе по магазинам – сами же вместо этого отправятся на свидание. Моя задача – быть в Бостоне, когда они приедут, все остальное мы уладим. Разобравшись, как обстоит дело, я решил, что встречаться с Сидонией мы будем в старой неприглядной гостинице неподалеку от театра, где им предстояло играть.

Хорошо помню этот сырой апрельский день. Снег с дождем, серое, нависшее над городом небо. Узкие, извилистые улочки старого Бостона: Фэнл-холл, Старая Южная церковь ^[13], а невдалеке Бостон-Коммон. (Чтобы не рисковать, я был вынужден подыскать самую обшарпанную из всех бостонских гостиниц.) Да, место унылое,

заброшенное, но каким светлым, живым, радостным оно нам казалось! Здесь мы скрывались от всего света в самое необычное время. К каким уловкам прибегала Сидония, чтобы быть со мной в эти часы, не могу себе представить. Любовь – странная штука. Помню, как, регистрируясь в этой гостинице, я думал о том, каково будет здесь Сидонии после своего уютного, обжитого чикагского дома, после театрального мира, в котором она вращалась. Скрипучая лестница. Пыльные ковры и шторы. Ветхая, с выцветшей обивкой мебель: причудливая, или живописная, или никуда не годная – это уж как кому. Сидонии нравилось: «Потрясающе! Божественно! Да, любимый?» И когда она приходила сюда или возвращалась отсюда к себе в отель, со мной или без меня, она обязательно делала наброски с натуры, и я обязательно должен был их вместе с ней рассматривать. А какие живописные места вокруг! Темные маленькие лавчонки и ресторанчики. С Чикаго ничего общего! Такие затейливые, такие чудесные. Помню свои чувства и переживания, помню их так же хорошо, как и наши встречи. Головокружительные минуты, когда мы рука об руку бродили по городу, разглядывая то какой-то магазинчик, то забегаловку, которые она обнаружила и мне расписывала. Чувство близкого человека – если только оно глубокое и проникновенное – охватывает тебя, точно облачает в пышный, многоцветный наряд, точно венчает золотой короной, звучит в сердце, будто песня, рассеивает любые тени, бросает свет – пляшущий, струящийся, переливающийся.

И то сказать: жизнь, точно золотой или многоцветный поток, обрушивается на нас, окрашивает наш характер, преображает его. То же и счастье: преображает нас и оно. Здесь, в этой неказистой старомодной гостинице, с этой жизнелюбивой затейливой девушкой я ощущал себя умственно и эмоционально озаренным, точно светом, проникающим сквозь какой-то чудодейственный витраж.

Многомерность и проникновенность ее мысли. Ее восприимчивость ко всему, что только есть в природе. Уверенность, с какой она оценивала жизнь, все излечимые и неизлечимые жизненные невзгоды. Люди недалекие живут с иллюзией, что постижение истины, искусства достигается опытом и кропотливым обучением. Это неверно. С каким восторгом слушал я глубокие, тонкие наблюдения над жизнью той, чье образование было еще в зачаточном состоянии.

За эту неделю в нашей с ней жизни возникло то колдовство, что связало нас надолго. Я так сжился с ней, она была так мне близка и по настроению, и по образу мысли, что, когда она уходила, жизнь теряла для меня всякий смысл. В этом сером холодном мире она являлась мне чем-то вроде жаркого пламени. Войдет, позванивая золотыми или нефритовыми серьгами с экзотическим узором, закутавшись в шаль, или в коротком шелковом сером плаще и шапочке, которая очень ей шла. Бросит на стул книгу или сверток и буквально с порога кинется мне в объятия, лепеча какую-то безделицу. Расскажет, что произошло за день и как она меня любит. «Ах какой же у меня был вчера интересный вечер! Знал бы ты, что про меня вчера написали в газете!» Или примется рассказывать, как молодые актеры их труппы встречались с группой студентов.

– Они бросились нас развлекать!

– И тебе никто из них не приглянулся, признавайся?

– Никто!

– А ты им?

– Не валяй дурака! Говорю же – нет!

И все же, как я и предполагал, одному студенту она так-таки приглянулась. После премьеры он стал за ней ухаживать, не отходил от нее ни на шаг. И накануне послал ей цветы, о чем она умолчала, а потом призналась, что передарила их жене режиссера. И все, больше ничего не было. Как я мог ее заподозрить? Да и потом, не может же она избегать встреч с такими людьми!

Я, разумеется, ее приревновал. Мучился лютой ревностью, злился. Черт возьми! Да еще на гастролях! Он молод, как и она. И наверняка хорош собой: красавчик вроде Коллинза. Она флиртует! Водит меня за нос! Обманщица! Так уж она устроена. Не может с собой справиться. И не хочет. И в ту же минуту я заявил, что уезжаю из Бостона. Да и зачем мне здесь оставаться? На мне свет клином не сошелся. Сказала, что четыре вечера подряд вынуждена будет провести с подругами. Или с другом?

Ну а я, пока она встречалась с подругами, бродил по городу с мрачными мыслями или же целыми днями работал, пока она наконец не объявилась и не рассеяла все мои сомнения – по крайней мере, на какое-то время.

Неделя пролетела незаметно. Ей предстояла поездка в Филадельфию, у нас оставалось только два вечера, но и те были у нее заняты – она должна была встретиться с сестрой. Эти вечера я провел в скорбном одиночестве, в надежде на свидание в дневное время, ожидая, что она найдет час-другой приехать ко мне в отель.

Из-за ревности (а может, вопреки ей) мое желание увеличилось еще больше, я ни на минуту не забывал о ее жестах, чувствах, мыслях, таких непохожих на чувства и мысли других. Я был не в силах смотреть на ее походку – твердую и в то же время плавную, кошачью, – не испытывая мучительного желания. Когда я видел ее улыбку, в которой сквозили искренность, прямоту, блестящий ум, меня подмывало в ту же секунду задушить ее в объятиях и ни за что не отпускать – в эти мгновения мне нужна была только она одна. Какое же удовольствие доставляли мне ее наблюдения, броские, эмоциональные высказывания об общих знакомых, о людях вообще. Она была не только умна, но и проницательна, и в то же время в ее замечаниях чувствовалась творческая жилка, отцовский практицизм был ей чужд. У меня создалось впечатление, что она готова порвать с родителями, со сценой – если бы только я на этом настоял. Она мечтала о нашем идеальном, нерасторжимом союзе, который будет длиться вечно. Будущее рисовалось ей чем-то поэтическим, головокружительным, не от мира сего. Но в Чикаго она должна вернуться обязательно: если не вернется, родители ей этого не простят. Однако в Нью-Йорк она приедет – в июне самое позднее. За неделю, проведенную в Бостоне, она побывала в нескольких театральном агентствах, встречалась с импресарио, директорами театров, и несколько человек проявили к ней интерес – во всяком случае, так ей показалось. И если с ней подпишут контракт, то мы будем неразлучны. Но даже если контракта не будет, она в Нью-Йорке останется все равно, что-нибудь придумает. В любом случае нам необходимо снять студию. Моя квартира ей не нравилась. Ну а потом... потом...

Сколько раз я объяснял ей, что мои средства ограничены и нам придется довольствоваться малым, но ее это нисколько не смущало: отец назначит ей содержание, она будет получать зарплату плюс мои гонорары! «Проживем!» Я смотрел в ее молодые глаза и любил ее за молодость, за оптимизм, за бесстрашие – даже за ее безрассудство.

Миновали апрель (последние дни месяца) и май. Сколько же писем я получил за это время от Сидонии! Отец был против ее поездки в Нью-Йорк, а если она все же поедет, то остановится у двоюродной сестры. Проблем было много, но Сидония не отчаивалась; не отчаивался и я. (Где-то у меня завалялась целая пачка ее замечательных писем, они, живые, непосредственные, были мне тогда очень дороги, и я их не выбрасывал.)

Наступил июнь, и в первых числах месяца Сидония приехала, остановилась в большой квартире на Риверсайд-драйв, куда я и направился с «официальным визитом». Поехать встречать ее на вокзал я не решился – позвонил по телефону узнать, прибыл ли поезд. Наконец-то я слышу ее голос, приглашение прийти. Почему бы и нет? «Ты ведь познакомился в Чикаго с моей двоюродной сестрой?»

Тот, первый, вечер я запомнил на всю жизнь. Настежь распахнутые окна, на столе цветы, и ее белоснежное, переливающееся на солнце платье, в котором она – не задумываясь о том, что ее бдительные родственники наверняка заметят, как лихорадочно блестят у нее глаза и как покраснела шея под густыми черными волосами, – бросилась со всех ног открывать мне дверь.

У нее созрел план. Ах, замечательный план! Она уговорила подругу поехать вместе с ней на восток. А поскольку Сидония собиралась завести знакомства в театральном мире, они договорились, что снимут номер на двоих в самом центре Нью-Йорка, в отеле «Брефоорт», неподалеку от Вашингтон-сквер – любимых мест Сидонии. И тогда она сможет собой располагать.

Я сразу же подумал, что эти планы вряд ли будут способствовать развитию ее недюжинных способностей, и это не могло меня не беспокоить. Но как же она была прелестна! Как соблазнительна! Мало ли, что я думаю, в Чикаго, на сцене Малого театра, она была безупречна. А чем бы я мог помочь ей в Нью-Йорке?

Какая разница! Поскорей бы нам увидеться наедине! Приехала она в четверг, а в пятницу, самое позднее в субботу, ее подруга снимет им номер в «Брефоорте», и Сидония скажет своим родственникам, что переедет к ней на выходные. И тогда...

И вот на следующий день я получаю телеграмму. Она – в «Брефоорте», у подруги. И у них не двухместный номер, а два одноместных. «Приедешь?» По дороге я прикидывал, какие есть поблизости живописные места на побережье, места, что ассоциировались у меня с летом и любовными утехами.

Приезжаю в отель, а ее нет. И не оставила никакой записки. И это после срочной телеграммы! Странно, подумал я, но решил, что у нее, должно быть, какие-то срочные театральные переговоры... Возвращаюсь в отель через два часа: Сидония у себя в номере! Свежа как летняя роза, проспала два часа! Понятия не имела, что я приходил,

даже начинала уже волноваться – куда это я запропастился. Мы оба покатывались со смеху: надо же было такому случиться! Боже, какая напасть! Какой ужас! «Обними же меня!» Не поехать ли нам куда-нибудь до понедельника? Она бросилась в мои объятия. Решено: мы уплывем далеко-далеко на нашем любовном корабле. Но к какому берегу пристанем – вот в чем вопрос.

Не прошло и часа, как я предложил ей несколько вариантов, в том числе романтический: живописные окрестности уже тогда несудоходного канала в Нью-Джерси; несколько лет назад я там побывал. Канал соединял Делавэр с Гудзоном и с тех пор пришел в полный упадок, не выдержал конкуренции с проложенной по берегу железной дорогой. Дух соперничества воды и рельсов существовал уже тогда, но и в те дни двух-трехдневное плавание по каналу на буксире до Скрентона было большим удовольствием. Помню маленькие гавани, где разгружались и загружались грузовые суда, петляющую водную гладь канала, лесистые берега, цветы у кромки воды. Помню уток и гусей с окрестных ферм, подходивших к самой воде, выкрашенные в яркие цвета каноэ с любителями гребли, а также проржавевшие суда прошлого века, что стояли, пришвартованные у берега, на вечном причале.

Пока я все это рассказывал, Сидония, приплясывая от радости, выбросила из своей дорожной сумки вещи, пригодные для загородной поездки, и не прошло и нескольких минут, как была совершенно готова. Мы успели на поезд до Маунтин-Вью и вышли на станции буквально в нескольких шагах от канала, а оттуда по извивающейся тропинке, мимо скрывающихся за деревьями, утопающих в зелени коттеджей и ферм направились в Бунтон – сущий рай на земле. Шли берегом и засматривались, как я уже говорил, на разноцветные каноэ, на приютившихся под деревьями влюбленных, на лебедей и на брошенные баржи, время от времени выраставшие из воды. По дороге Сидония собирала цветы и то и дело вскрикивала от радости. Райские места, что и говорить! Сегодня вечером мы поужинаем чем бог послал в одном из этих прибрежных коттеджей. Не дадут же нам умереть с голоду! Она их, фермеров, очень попросит! Не хочу ли я провести с ней ночь в стоге сена, если таковой найдется? «Что скажешь?»

Мы прошли пару миль и опустились на траву у самого берега. Она положила мою голову себе на колени и, смеясь, принялась щекотать

мне нос и уши травинкой тимофеевки.

– Ты встречалась с Коллинзом по возвращении? Сдержала слово или нет, признавайся?

– Ох, бедный Уэбб! Мне так его жаль. Он такой мечтатель, такой беспомощный.

В том, как она это говорила, было что-то забавно-снисходительное и в то же время сочувственное. Вместе с тем в выражении ее лица, в голосе ощущалась какая-то тревожная, ностальгическая нота, чего раньше, когда речь заходила о Чикаго или о Коллинзе, я ни разу не замечал. На мой вопрос, однако же, я ответа не получил. Вместо этого она посмотрела на небо, а не на меня, и это очень меня обеспокоило – почему, я тогда еще не отдавал себе отчета.

– Ты мне не ответила. Ты виделась с ним или нет, любимая?

Она молчала. Молчание длилось не больше минуты, но эта минута показалась мне вечностью. И эти глаза... Черт побери, она говорит правду или лжет?

Я пришел в ярость. Ярость вместе с уязвленной ревностью, одержимостью. Жизнь – вечная борьба! Смертельная схватка! Вот теперь и я замешан в этой схватке. Но почему? Почему? А потому что я, вопреки самому себе, поддался ей, дал себя растревожить. И вот теперь надо мной смеются, издеваются, водят за нос!

Сейчас она, конечно же, расплатится. Наверняка! О да! А почему бы и нет? Сначала ведет себя, как ей заблагорассудится, а потом смывает грешки слезами. Нет, не бывать этому! Неужели она могла подумать, что я стану ее с кем-то делить? А впрочем, на что может рассчитывать сорокадвухлетний мужчина? Не на что! Все вздор! Вся эта романтическая прогулка, воскресный вечер. Все кончено! Забыть навсегда! Мы возвращаемся в Нью-Йорк – или возвращаюсь я один. И никуда я больше с ней не поеду! Никуда и никогда!

– Прекрасно! – воскликнул я, закипая. Давно уже не приходил я в такую ярость. – Все кончено! Можешь и дальше крутить с ним любовь. Мне надоело! Я возвращаюсь в Нью-Йорк, а ты езжай куда хочешь и с кем хочешь – только не со мной! – И с этими словами я вскочил и зашагал по тропинке к деревне.

Не успел я сделать и нескольких шагов, как Сидония – она мгновенно поняла, чем рискует, – догнала меня. В глазах стоит животный ужас, лицо мертвенно-бледное, обезображенное, как лица

древнегреческих героев, которых она так убедительно изображала на сцене.

– Любимый! Нет, нет! Подожди! Дай мне сказать! Я расскажу тебе, как было дело, любимый! Я люблю тебя! Правда! Правда! Поверь! Это все от сочувствия, жалости к нему. Какая же я дура, теперь я понимаю. Ах, прости меня! Прости! Меня захлестнули чувства, но это только потому, что я его пожалела, а не потому что люблю. Ты не веришь мне? О поверь! Пожалуйста! Не уходи, любимый, прошу тебя! Подожди! Дай мне сказать! Любимый, подожди! Ты должен понять. Любимый, прошу тебя!

Какой голос! Какое бесподобное искусство убеждения, которое так поразило меня в Чикаго, когда я впервые увидел ее на сцене! Безумие, которое ее охватило, было более чем убедительным: оно потрясло, завораживало, гипнотизировало. В ее напряженном взгляде стояли слезы, губы дрожали, точно у какого-то обезумевшего существа.

Я не сводил с нее глаз: в моем взгляде, вне сомнения, была насмешка, но в то же самое время – чудовищная боль и гнев. Боль от любви. Гнев от любви. Пока я шел, а она говорила, мне вдруг стало не по себе: ее тоска, казалось, передалась и мне, угнетала меня, валила с ног. Мне хотелось остановиться, мне было не по силам идти дальше. Без нее я чувствовал себя опустошенным, брошенным. Смогу ли я продолжить путь? Перенести случившееся?

На ногах были будто гири, тяжело было и на сердце я шел с трудом, из последних сил, и из-за этого не мог ее не слушать. Допустим даже, у нее есть оправдание, но что с того? Как же она лжет! А я, ничтожество, слабак, ей поверил. Нет, ни за что не стану ей верить!

Мы говорим, а у наших ног плещется вода, на деревья падают длинные тени от заходящего солнца; чудесный июньский вечер. Вот жужжит пчела, пролетела, шумя крыльями, птица. Но как все это стало теперь безрадостно. У меня словно украли всю эту первозданную красоту, погубили, втоптали в грязь. А Сидония между тем все говорила и говорила: нет, она не любит Коллинза, она его жалеет – оттого все и произошло. Он умолял ее, обнимал, плакал. А она – она не хотела быть жестокой...

А как давно это было? Дней за восемь до ее отъезда в Нью-Йорк. Нет, не за восемь, а за один-два дня. Нет, за восемь. «О, поверь, поверь мне, пожалуйста!» (Ни за что не поверю. Ничего не чувствую, кроме

пронзительной боли.) Что же теперь будет? Она с ним рассталась? Да, она все ему сказала. Сказала, что их отношения должны кончиться. А они кончились? Она дала ему понять, что все кончено? Да, да, но он был так настойчив, так страдал. Он писал ей. Ага, любовные письма! Да, писал письма. И ни на одно письмо она не ответила. Ни на одно!

Дьявол! И я опять порывался уйти. И она опять стала клясться, умолять. Никогда, никогда, никогда не станет она переписываться с Коллинзом! Никогда! Сегодня же напишет ему последний раз. И на этом – конец. И с этой минуты он оставит нас – и ее, и меня – в покое. Но тут я решил вмешаться и выяснить, говорит она правду или нет. Потребую от нее, решил я, показать мне письма Коллинза и заставлю написать ему ответ (под мою диктовку), после чего в их отношениях будет поставлена точка – во всяком случае, со стороны Сидонии. Не вдаваясь в подробности, я предложил ей этот план, и, к моему удивлению, она согласилась, причем без всяких колебаний. Да, да, да. Она покажет мне его письма и напишет то, что я ей скажу. «Только, пожалуйста, пожалуйста, не сердись, не злобствуй. И больше не говори, да так грубо, жестоко, что мы расстанемся!»

Прекрасный воскресный день пошел насмарку. Мы вернулись в Нью-Йорк, вошли в ее номер, и я тут же занялся письмами Коллинза. Перечитал их и убедился, что боялся не зря. Но Сидония сдержала слово: села за стол и написала ему ровно то, что я ей продиктовал, – в моем присутствии, но с ее согласия и одобрения. Написала, что с этого дня между ними все кончено, ни встречаться, ни даже переписываться они больше не будут: она любит только меня. Когда письмо было подписано, запечатано и передано коридорному, Сидония посмотрела на меня глазами, полными слез, потом подошла ко мне ... а утром – поздним утром – мы вновь отправились на этот прелестный канал.

И то сказать: нам ведь так хорошо, зачем же расставаться. И больше мы не ссорились. Ездили за город, собирали цветы, любовались природой, находили чудесные живописные лужайки, лежали в траве и предавались мечтам. Хорошо помню скромные уютные маленькие гостиницы, где мы оставались на ночь, коттеджи и пансионы, где нас кормили. Как же хорошо было нам вместе! Было и будет.

Так протекали дни, много дней. В памяти остались незабываемые картины необузданной, многоцветной, бьющей через край,

ослепительной красоты, переливающейся всеми цветами радуги: лиловым, синим, коричневым и зеленым, с мимолетным проблеском красного или белого. Никакой тени; в часы нашей близости теней не было. Напротив того, меня поражало буйство фантазии, на которую способна только природа, человеку, его творческому порыву, такая безудержная фантазия недоступна.

За первые полгода, проведенные с Сидонией, я пришел к выводу, что, если только она не увлечется чем-то по-настоящему, то будет и впредь из-за бьющего через край воображения, точно пчела, перелетать с одного цветка-искусства на другой, в результате чего ничем всерьез не займется и, соответственно, ни в одном из своих начинаний не добьется ощутимого успеха. Стоило ей убедиться, что подходящая роль ей в ближайшее время не достанется, как она, вместо того чтобы добиваться других ролей, увлеклась танцами, пением, живописью. Тем более что не сомневалась: в театральном мире умение танцевать и петь котируется высоко. И тут она была совершенно права. Больше всего меня беспокоило, что ее внезапное увлечение живописью, каким бы сильным оно ни было, с ее сценическими амбициями напрямую никак не связано. А увлечение это было и в самом деле очень сильным. Ее наброски отличались живостью и затейливостью. Написанный ею канал напоминал пейзажную живопись Констебла. Обстановка сельского дома или нью-йоркской квартиры – Вермеера. Она любила писать дома и улицы Нью-Йорка или какую-то сценку на берегу реки.

– Встань перед зеркалом и нарисуй автопортрет, – посоветовал я ей. – Получится здорово.

И она меня послушалась.

Порисует час-другой, перемажется краской с ног до головы, а потом, сославшись на то, что работы еще непочатый край, закроет мольберт и добавит: «У нас ведь с тобой еще полно дел». Как ни был я к ней привязан, ее слова вызывали у меня раздражение. В самом деле, если ей так нравится рисовать, так пусть бы занималась живописью всерьез, наверняка стала бы известной художницей. Но нет, вдруг ни с того ни с сего увлечется пением. Нашла учителя, который подготовил по меньшей мере два десятка известных певцов, и поделилась со мной своей радостью: учитель сказал, что у нее большое будущее, и она уже взяла в аренду на месяц пианино. Еще маэстро сказал, что у нее

глубокий и сильный голос – «богатое контральто», и заверил ее, что если она будет брать уроки пения и первое время петь в хоре, то самое большее лет через пять станет настоящей оперной дивой – он ей это гарантирует.

– Прелестно! Лучше некуда! – Я покачал головой. – А как же твоя карьера актрисы?

– Что же я могу поделать, дорогой? Сам же видишь, как это сложно, любимый, особенно теперь. Разумеется, я встречаюсь с нужными людьми, кое с кем подружилась. Но надо будет подождать, пока я им понадобится. Кроме того, я же люблю тебя, мой хороший, и, пока не разлюблю, для меня нет ничего важнее.

– *Пока не разлюбишь?*

– Да, нет ничего важнее. И, пожалуйста, не... я не хотела сказать ничего плохого...

(Тут в моей рукописи отсутствует страница.)

Помню, как однажды она обняла меня, начала плакать и причитать:

– Мы... наша жизнь... наша мечта, как по волшебству, родилась из ничего... чего еще желать? Театр? Ерунда! Великие актрисы приходят и уходят. Главное, чтобы мы с тобой были вместе, а сцена – дело наживное!

То же самое говорилось и о пении. Или о живописи:

– Зачем мне все это без тебя... – И опять в глазах слезы: слезы восторга, благодарности. Отчего только она ни рыдала!

– Но послушай, Сидония, ты что, и правда раздумала играть в театре? И это после такого успеха в Чикаго! Очень надеюсь, что я тут ни при чем. Было бы ужасно, если б я тебе помешал...

– Нет, конечно, нет, любимый! Разве я тебе об этом только что не сказала? Но пока я жду, чтобы у меня появились новые связи (сейчас, сам знаешь, меня преследуют неудачи), почему бы мне не писать картины, не заниматься пением или танцами?..

– Да, я знаю, и я бы ничего не имел против, если б ты так не разбрасывалась: в искусстве заниматься двумя, тем более тремя вещами одновременно, нельзя. Только *преданность* профессии приносит успех. – Сколько раз я ее таким образом учил жить!

В тогдашней нашей жизни произошло еще два памятных события. Однажды на выходные мы в очередной раз отправились на наш канал. Долго гуляли живописным берегом, дошли чуть ли не до самого

Стрентона, приблизились к Делаверскому ущелью и в воскресенье вечером, как обычно, вернулись обратно. Когда мы приближались к нашей студии, Сидония – в руках у нее был букет диких цветов – вдруг, будто в исступлении, вскричала:

– Подумать только! Это же папочка! Он приехал к нам! О боже, боже, как чудесно!

И она, передав мне цветы, бросилась бежать, я же в недоумении, совершенно озадаченный, стал оглядываться по сторонам, где же «папочка». Его неожиданный визит, как видно, необычайно обрадовал Сидонию, чего не могу сказать о себе. Я напрягся, раздумывая, что сулит нам его появление. И тут, на некотором расстоянии, в тени, я его увидел. Худой, поджарый, не седой, лет пятидесяти с лишним, вид суровый, держится с достоинством. С ним рядом Сидония: обхватила отца за шею и пригибает его голову к себе. На улице было тихо, и до меня донесся ее голос:

– Папочка, дорогой! Откуда ты? Ты давно здесь? Ждешь нас?

Я стоял и в замешательстве наблюдал за тем, как она мгновенно овладела непростой ситуацией. Интересно, чем это кончится, думал я, ведь, хоть он ее и любит и удивлен столь бурным проявлением дочерних чувств, она была не одна! Мое появление наверняка удивит его ничуть не меньше.

И тем не менее я сдвинулся с места и подошел ближе, однако отец и дочь, по всей видимости, заметили меня не сразу. Спустя минуту Сидония повернулась и воскликнула:

– Дорогой! Это мой отец! Правда, здорово, что он приехал! Ах, я так счастлива!

Посмотрим, счастлив ли будет он. Я, однако, протянул ему руку, и Платов, хоть и не сразу, ее пожал. Меня, как никогда, изумила поразительная сила ее эмоционального натиска, то, как она – уж не знаю, сознательно или нет – сумела утопить эту неловкую ситуацию в мощной волне чувства, к чему Платов оказался совершенно не готов. Он был озадачен, агрессивен и печален в одно и то же время и, хотя понимал, что его скорее всего обвели вокруг пальца, делал все возможное, чтобы не выдать своих чувств. Но разве можно оставаться уравновешенным, когда имеешь дело с Сидонией? Когда она безудержно веселилась или, наоборот, тосковала, я оказывался в том

же положении, что и Платов. Да, в своенравии, непостоянстве отказать ей было никак нельзя.

Не прошло и минуты, как она, схватив отца за руку, втокнула нас обоих в лифт, и мы поднялись в нашу студию. Как только мы вошли – а было уже почти десять вечера, – она бросилась зажигать свечи. Платов же, пребывая в нерешительности, заговорил о том, что безуспешно пытался ей дозвониться и в субботу и сегодня.

– Но откуда у тебя этот адрес, папочка? – поинтересовалась его ненаглядная дочь. – Как же хорошо, что ты приехал! Ах, я так без тебя скучала! Ты получил все мои письма?

Надо же было до такого додуматься! – воскликнул я про себя. Ничего лучше не придумаешь! Я молчал и внимательно наблюдал за происходящим. Платов же, не обращая внимания на нежные чувства дочери, повернулся ко мне и сказал:

– Ну а вы? Что *вы* скажете в свое оправдание? Как *вы* могли так себя повести, зная, как это скажется на общественном и моральном облике моей дочери? – Его голос дрожал, он явно очень нервничал.

– Значит, по-вашему, мистер Платов, я один виноват в поведении Сидонии? – Я не постеснялся задать ему этот риторический вопрос, решив, что, в случае чего, защищаться буду до последнего. – Она ведь уже не ребенок, да и человек неординарный. И не только я повлиял на нее, но и она на меня. Кроме того, – добавил я и, прежде чем сказать, задумался, как Сидония и ее отец воспримут мои слова, – вы ведь знаете не хуже меня, что я не первый мужчина, которого... она любит.

Не успел я устыдиться сказанного, пожалеть о своих словах, как Сидония меня перебила:

– Да, папочка, еще в Чикаго я все ему рассказала про Уэбба.

И тут, к своему искреннему удивлению, я заметил что возмущение мистера Платова сходит на нет: он густо покраснел, и от решительного вида, с которым только что ко мне обратился, не осталось и следа. То ли взяли верх отцовские чувства, то ли он понял, что напрасно понадеялся, что я возьму всю ответственность на себя, но я почувствовал и даже увидел воочию, что он вдруг очень расстроился.

– Да, я знаю, – произнес он едва слышно, – Сидония всегда была девушкой своенравной. Как я ни старался, мне с ней было не справиться. Я связывал с ней большие надежды...

И тут Платов окончательно сник и отвернулся: не смог справиться со своими чувствами. И в ту же минуту Сидония вновь его обняла.

– Ах, папочка, прошу тебя, перестань! Все ведь не так уж плохо. Я очень люблю Т., очень! И я так с ним счастлива, не могу тебе передать! Все мои надежды и чаяния связаны теперь с ним. Он столько всего для меня делает.

Она прижимала к груди его голову, гладила по щеке, по волосам. Мне же ничего не оставалось, как молчать. Так переживать за свою дочь! Питаться такие иллюзии в соответствии с общепринятой общественной моралью! Я встал и направился к нему, но Сидония по-прежнему стояла между нами. И тут Платов заговорил опять:

– Да, я все знаю, Сидония. Но ведь ты еще совсем ребенок. Ты далеко не все понимаешь. И не можешь пока понять. А если ты ему надоешь, что тогда? Он выставит тебя на улицу, как последнюю девицу, что пустилась во все тяжкие.

Он осекся, его душили слезы, при этом в его голосе слышалось раздражение. Я же испытал некоторое разочарование от этого неприхотливого, старомодного представления о судьбе своенравной дочери. Сидонию выставят на улицу? Выбросят за ненадобностью? – сказал я себе, сообразив, что эта реплика может стать выигрышным аргументом в споре. Выбросят почему? Потому что не оправдала надежд? Смех, да и только! Она с тем же успехом может выставить на улицу и меня. Улыбнувшись, я начал было прикидывать, что ему отвечу, но Сидония меня опередила:

– Выставит на улицу? Тоже скажешь! Какая ерунда, папочка! Как будто я дам себя в обиду!

И она принялась перечислять все, что умеет и готова делать. Ко всему прочему, по старинке она жить не желает. Никогда не выйдет замуж по расчету, ради карьеры и денег. Отец должен понимать, что она хочет жить по своему разумению, иметь дело с тем, кто, как и она, стремится жить по-своему. И тогда, если он и она будут любить друг друга, у нее все получится.

Как же убедительно звучали ее слова! Сидония была великолепна. У Платова же вид был, прямо скажем, смущенный и невеселый. Все его прочные чикагские связи, весь его солидный достаток, равно как и консервативное воспитание, восставали против этих чуждых условностей современных взглядов.

– Я вас об одном прошу, – сказал он, поворачиваясь ко мне, – не будьте с ней жестоки. Она обласкана, избалована, своенравна, но сердце у нее доброе.

Я чувствовал, что любящий отец говорит серьезно, и дал ему слово, что не буду с его дочерью плохо обращаться. В эти минуты я поневоле испытывал к нему симпатию. Тягостный разговор кончился тем, что Сидония уговорила отца разделить с нами полуночный ужин. Наутро мы вместе позавтракали в его гостинице. Как мне показалось, Платов смирился с происходящим и предоставил заботиться о его дочери мне.

– Вы должны постараться сделать так, чтобы из нее получилось что-то путное, – сказал он на прощание.

После этого Платов и его дочь регулярно обменивались письмами, и он дал ей денег, чтобы она «ни в чем себе не отказывала», что с традиционной, устоявшейся точки зрения было худшей помощью, какую только может оказать отец своему чаду.

Другим памятным событием, случившимся примерно в это же время, стала встреча с юным Коллинзом. В июне он получил от Сидонии письмо, написанное под мою диктовку, после чего, насколько мне известно, их отношения прервались, – я, во всяком случае, очень на это надеялся.

И вот жарким сентябрьским днем он – свежий, улыбающийся, щегольски одетый в новенький, с иголки серый костюм и светлую фетровую шляпу – возник в дверях нашей студии. Как дела? От друзей он слышал, что мы живем здесь, а поскольку у него были в Нью-Йорке дела, решил зайти. Как же он рад видеть нас обоих! Что в Чикаго? Да ничего нового, скучновато, уныло. За исключением разве что Малого театра, у которого много планов в предстоящем сезоне, рассказывать особенно нечего. Он говорил, а сам внимательно, во все глаза, разглядывал комнату, Сидонию и меня. Сидония, что неудивительно, интересовала его больше всего. Что у нее нового? Что поделявает? Он слышал, ей дали небольшую роль в пьесе, которая провалилась. Мне показалось – хотя, может быть, я и ошибаюсь, – что говорит он об этом не без некоторого злорадства. Еще я заметил, что той симпатии, с которой он относился ко мне в Чикаго, больше нет. Он был вежлив, обходителен, улыбался, но взгляд у него был какой-то язвительный.

Мне было очень любопытно, с какой целью он к нам пожаловал. Вернуть Сидонию? Уж не переписывалась ли она с ним втайне от меня все это время? Его замечание о том, что он собирается уйти из чикагской газеты, переехать в Нью-Йорк и заняться журналистикой здесь, меня, признаться, насторожило. Ага! Так вот что у него на уме! Приехал уговорить Сидонию от меня уйти. Стало быть, битва еще не кончилась, она еще только начинается. Я, разумеется, разозлился и в то же время испытал сильную душевную боль. С нее станется! Любовь любовью, а ей ничего не стоит, несмотря на всю свою страсть ко мне, к нему вернуться. Уйдет, и даже не поставит меня в известность, я был в этом уверен.

Как же загадочно вела себя Сидония! Она была так мила, так обходительна, так ласкова. И при этом озадачена. Я сразу же заподозрил, что она хочет произвести на него впечатление, и, как знать, возможно, вслед за написанным нами прощальным письмом последовало еще одно, ее собственное, в котором со свойственной ей вкрадчивостью она объясняла, почему написала первое письмо. (Вот что такое истинная любовь!)

И вот теперь она сидит на разноцветной, расшитой ею софе – соблазнительная, веселая, игривая. И в каком бы настроении ни находился Уэбб Коллинз, он имеет возможность видеть ее такой. Вокруг разбросаны самые экзотические наряды, в которых она выходила на сцену и в мир. Все утро – хотя я сидел за столом и писал – она, чтобы доставить мне удовольствие, наряжалась: мерила платья самого разного цвета и покроя, чтобы яшний раз убедился, как самобытно ее искусство и какой у нее безупречный вкус. Здесь же, на мольберте или у стены, находились пастели и холсты Сидонии-художницы. И ее этот беспорядок несколько не смущал, ведь Коллинз уже давно не жил с ней одной жизнью.

Любовь, наряды, молодость, надежды.

Время от времени я поглядывал на них обоих и думал о том, как же она неутомима, какой кипучей энергией от нее веет. Думал – не мог не думать – и о том, какие чувства Коллинз в ней вызывает. Любит ли он ее по-прежнему? И как бы я ее ни ревновал, как бы бдителен ни был, я не мог ему не сочувствовать, не мог не радоваться, что она – моя.

Просидев час-другой, Уэбб ушел, из чего Сидония заключила, что между ним и его молодой женой не все благополучно. Возможно,

сказала она, они собираются развестись, однако на чем основывалось это предположение, сказать не берусь.

Сидония оказалась права: спустя несколько месяцев Коллинз переехал в Гринвич-Виллидж и зажил в свое удовольствие – впрочем, вел себя вполне прилично. Сидония же настолько заполнила собой мою жизнь, что свела на нет все мои разнообразные связи, которые были у меня до ее приезда в Нью-Йорк. Не стану называть здесь имена тех, с кем я имел дело, женщин у меня было предостаточно, и, хотя жизнь до появления Сидонии я вел обособленную, они, эти мои подруги, меня вполне устраивали. Теперь же я не нуждался ни в ком, кроме нее, она единственная владела всеми моими чувствами и помыслами. Такого темперамента, как у Сидонии, я не встречал ни разу в жизни. Ее настроения, ее поступки, хорошие и плохие, были так загадочны, что объяснить их не представлялось возможным. Из всех женщин, с которыми свела меня жизнь, Сидония была самой независимой и не стремилась полностью на меня претендовать. Наоборот, несмотря на то, что она не раз признавалась мне в своих пылких чувствах, у нее всегда было столько дел, требовавших ее участия и внимания, что я часто задумывался (и задумывался всерьез), кто и по какому поводу на нее претендует. В самом деле, если я в свое время увлекался не одной, а тремя или четырьмя, даже пятью женщинами одновременно, что мешает и ей увлечься столькими же мужчинами?

Верно, исчезнув на пять-шесть часов, она бурей врывается в студию и торопится поскорей поделиться своими чувствами, а также какой-нибудь забавной сплетней, после чего бросалась ко мне в объятия. Меня же не оставляли сомнения, действительно ли так глубоки, искренни ее чувства. Ведь при всей любви к отцу она часто не слушалась его, огорчала. То же и с Коллинзом: было же время, когда она питала нежные чувства одновременно и к нему, и ко мне.

Хуже всего было то, что Сидония, как и я, была особой увлекающейся, ухитрялась флиртовать с несколькими мужчинами одновременно. С тех пор как она приехала в Нью-Йорк, у нее появилось несколько поклонников, о которых она часто говорила и которые вызывали у меня подозрения и даже ревность – они были явно к ней неравнодушны. Впрочем, среди ее знакомых не было ни одного, на кого я мог бы указать пальцем.

В любом случае у Сидонии было масса дел, тысячи забот и обязательств, и она часто пропадала на несколько часов, а то и на весь день. И все же ко мне она питала самые нежные чувства, что проявлялось во многих очень трогательных поступках. Более того, ради меня она всегда готова была пожертвовать своим временем, потратить свои деньги. Она всегда думала о нас обоих: куда мы *вместе* пойдем, что *вместе* сделаем, – все, и в будущем тоже, касалось не ее одной, а нас двоих.

Ее отец был человеком состоятельным, равно как и многие ее родственники; некоторые из них проявляли к ней интерес. И если бы на нее, паче чаяния, свалилось наследство, мы бы с ней знали, как им распорядиться. Все, что она зарабатывала на сцене или живописью, предназначалось не ей одной, а нам обоим. И очень часто, когда я оказывался на мели и вынужден был экономить буквально на всем, она протягивала мне руку помощи, помогала сводить концы с концами, к чему сам я был совершенно непригоден.

И все же со временем (а время у влюбленных летит незаметно) Сидония, хоть и украшала мне жизнь, все больше и больше меня раздражала: думаю оттого, что я не вполне понимал, что собой представляют ее многочисленные творческие увлечения и заботы. Дел у нее было столько, что она постоянно бросала меня одного, иногда на полдня, а иногда и на целый день, который я вынужден был коротать в одиночестве за письменным столом. Как так получилось, недоумевал я, что у меня вдруг образовалось столько свободного времени, когда я могу идти куда захочу? И как так вышло, что я предпочитаю, когда ее нет дома, работать, никуда не уходить и терпеливо ее ждать? Эта мысль не столько возмущала меня, сколько удивляла. Должно быть, я очень сильно привязался к ней, иначе бы так себя не вел. Однако сомнения, в которых я пребывал, не рассеивались.

Беспокоило меня, а со временем стало раздражать, и то, что к своему сценическому призванию, яркому таланту актрисы она относилась не так серьезно, как мне бы хотелось. Ради театра, казалось мне, ей следовало жертвовать собой – даже в ущерб нашим отношениям.

Увы! Меня иной раз преследовала грустная мысль, что Сидония не способна на жертвы, без которых не обойтись, если хочешь добиться успеха. Может, все дело в том, что ей слишком легко, привольно

жилось. Но нет, возражал я сам себе, талант есть талант, и если чувствуешь настоящую потребность чего-то достичь, никакая привольная жизнь с этой потребностью не справится.

Как бы то ни было, проходили дни, недели, а ничего путного она так и не добилась. И я уж стал думать, что ее любовь к разнообразной и переменчивой жизни плохо сочетается с тяжелым, кропотливым трудом. И тогда мне пришло в голову, что с ней-то все в порядке, это я слишком требователен, причем не к себе, а к другим, отсюда и критическое отношение к людям, постоянная, ненасытная тяга к переменам.

Перемены, перемены, перемены! Я всегда поддавался их притягательной силе, легко пресыщался. Люди быстро мне надоедали. Какой бы соблазнительной, обаятельной женщина мне поначалу ни казалась, долго жить без перемен я не мог. Буду, пока живу, искать в людях что-то новое, неизведанное. Тогда-то я и написал эссе о переменях, которое гораздо позже и в сильно измененном виде включил в свою книгу «Бей в барабан».

По меньшей мере два года мы с Сидонией жили в атмосфере постоянных перемен, среди совершенно разных, непохожих друг на друга людей. Она заряжала меня своим непостоянством, увлеченностью жизнью, страстью к забавам, развлечениям – с подобной страстью я сталкивался впервые. Вижу ее как сейчас: голые руки, шея и плечи, на которые изящно наброшена шаль, молодое лицо обрамляют черные волосы. Она сидит в окружении цветов, свечей, пирожных, бокалов с вином и ждет гостей. Они вот-вот явятся и заполнят до предела нашу скромную обитель. Она будет петь, танцевать, придумывать «номера» – валять дурака. Когда же вечеринка подойдет к концу, когда гости толпой выйдут на улицу, она потушит все свечи, кроме одной-двух, сядет за пианино и что-нибудь споет. Или заберется ко мне на колени и будет мурлыкать:

– Обними меня, любимый! Как же было хорошо, правда? А как тебе этот... Ужасно любопытный персонаж. А тот... Вот ведь болван! Как же нам с тобой хорошо!

– Да, да, любимая, конечно!

Я потом часто думал, что не зря же гнал от себя мысли о том, чтобы ей изменить. Меня связывала с ней удивительная эмоциональная отзывчивость, она бурно реагировала на все, что я

делал или собирался сделать, чем очень мне помогала, какой бы несобранной, непредсказуемой в своих творческих порывах ни была. Мне нужна машинистка? Она всегда готова набело перепечатать мой черновик. Мне нужен вдумчивый критический отзыв? Она внимательно прочтет то, что я написал, и выскажет ценные, здравые суждения. С каждым днем нашей совместной жизни на меня все большее впечатление производила ее исключительная чуткость ко всем, светлым и темным, сторонам человеческой трагедии или комедии, чуткость, которая ни с общественной, ни с финансовой точки зрения не сулила ей ничего хорошего.

Она была щедра, даже слишком, не скупилась, давала в долг, со всеми была очень доброжелательна, делилась книгами, картинами, нарядами, своими оригинальными поделками – чем угодно. И все это – чтобы потакать желаниям или амбициям всех тех, кто никогда не сделал бы этого для нее. Она жалела людей, вникала в их горести. Однажды, увидев сбитую машиной девочку лет тринадцати-четырнадцати, долго потом не могла прийти в себя, три дня пролежала в постели. Я тогда и сам был убит: и оттого, что она страдает, и от всего происшедшего, – и в то же самое время счастлив, видя, как она отзывчива.

Как же прекрасно, когда видишь, как человек чуток, понятлив! В то же время настроение у нее портилось постоянно: у меня ушел не один час, чтобы вывести ее из угнетенного состояния, в котором она тогда, после этого несчастного случая, находилась. Ее невиданная эмоциональная отзывчивость стоила ей очень дорого, меня же очаровывала. Она испытывала горькую, саднящую боль от жестокости – оборотной стороны красоты, – страдала от причастности к человеческому горю, хотя то, что я описывал в своих книгах, никоим образом не свидетельствовало о том, что мир обречен. Как же мне повезло, что я встретил такую чудесную, яркую, непосредственную женщину! Каким бурным, живым, романтическим темпераментом она обладала! А ее мечтательность, задумчивость! В каких только закоулках огромного города не предавалась она мечтам! А какая бьющая через край энергия, какая мгновенная реакция!

Ах, почему на свете так много замечательных вещей, которые меняются и исчезают? Сидония всегда была для меня чем-то самым-самым. Когда она, увлеченная новыми интересными знакомствами,

охваченная какой-нибудь свежей и в самом деле очень ценной идеей, врывалась ко мне в комнату, я приветствовал ее, как приветствуют красоту, или отдохновение, или какое-то громкое научное открытие. Где бы она ни находилась – в моих объятиях, в нашей с ней студии, или где-то в городе с друзьями и без друзей, или когда мы шли рука об руку, – меня не покидало чувство радости, увлекательного приключения, уверенности в себе. Да и как было не радоваться, ведь ты любим таким талантливым, таким восторженным, необыкновенным созданием.

Когда же я шел по городу или трудился в одиночестве, без нее, передо мной возникали образы других женщин, совсем других событий. Женщин, что проходили мимо. Глаза, что заглядывали в мои глаза. Время от времени в моей жизни появлялась женщина с характером, быть может, и не таким переменчивым, не таким ярким, не таким оригинальным, как характер Сидонии, но тем не менее мне близким, близким по духу. Не мог же я не обратить внимания на эту женщину!

Тайна, грустная тайна! Как и в прошлом, я обсуждал с самим собой абсолютно неразрешимую проблему верности в любви, да и не только в любви. Что такое любовь? Ее законы? Правда ли, что, когда любишь, нет ничего запретного? Да, и тогда, и теперь я не верил в свободное волеизъявление. Все наши действия, все наши вызовы, чему я не раз становился свидетелем, являлись по своей природе либо физическими, либо химическими проявлениями законов природы, проявлениями, заранее заданными.

Где-то гремела и надвигалась гигантская буря, в ее могучих раскатах по каплям рождалась жизнь – этот волшебный ковер с его прихотливыми, вычурными узорами. Для всего же сущего – мух, птиц, людей, деревьев, палок, камней, из которых он был вышит, – ковер этот был не более чем химическими и физическими комбинациями. Неотвратимость, заданность того или иного узора на ковре зависела всего лишь от воздействия на нас тех или иных химических свойств, от того, насколько могущественны тропизмы темпераментов, мужских и женских.

Вот почему, как бы счастлив я ни был, как бы Сидонией ни восхищался, меня не оставляла мысль, что весь мир есть причудливый набор несхожих темпераментов, которые, если к ним присмотреться,

представляют собой вечно видоизменяющееся, увлекательное зрелище. Иными словами, мы словно плывем на всех парусах к какому-то то далекому, желанному и неизведанному берегу. Как же манят нас бескрайние морские просторы, таинственные земли, неожиданные события!

Да, я был ей верен в том смысле, что был счастлив и влюблен. И, в еще большей степени, неверен, потому что, на свою беду, поддавался соблазнам, с которыми не мог справиться и от которых меня не могли спасти ни счастье, ни влюбленность. Эти соблазны возникали неведь откуда и неведь куда исчезали; появлялись и вновь пропадали. Желая порвать с однообразием жизни, я говорил себе: «Хватит! Пора все поменять!» Первое время я думал об этом всего несколько минут, потом – часами, потом эти мысли не покидали меня несколько дней подряд.

В результате все чаще и чаще возникали минуты, когда мы оба или каждый в отдельности впадали в меланхолию, раздражались, ведь Сидония была очень чуткой, очень ранимой – ох какой же чуткой, какой ранимой! Стоило ей заподозрить, что я не в духе, что я потерял к ней интерес, как она приходила в безумную, слепую ярость или же впадала в отчаяние. Как же она рыдала! Ее горю, ее страданиям не было предела. И моим тоже!

Да, страдал и я. Страдал от ревности, от страха ее лишиться, а заодно – от подозрительности, желания ей отплатить. Вот и она – боюсь, так же, как и я, но, разумеется, втихую – встречалась с другими. Встречалась, чтобы преодолеть нахлынувшую на нее скуку, или гнев, или отчаяние. Как же тяжело давались нам обоим такие дни!

Порой мне казалось: я вижу, как она скучает, злится или отчаивается. А что, если в мое отсутствие кто-то бросает на нее, причем не случайно, нескромные взгляды? Что тогда? И вот однажды одна из тех амбициозных и ревнивых дамочек, что все про всех знают, посоветовала мне – конечно же, втайне от Сидонии – присмотреться к **, честолубивому молодому кинорежиссеру, который открыл в Нью-Йорке студию, куда, намекнула мне дамочка, Сидония нередко по утрам и во вторую половину дня навещается. Я был с этим кинорежиссером знаком, человек он был очень обаятельный, да и Сидония недавно отзывалась о нем весьма положительно: умен, знает себе цену.

Испытывая муки ревности, я решил, что в эту историю надо бы вникнуть. Но не следить же за ней, в самом деле! Нет, на это я не пойду. И уж точно не сейчас. Да и какое я имею право? Вправе ли я установить за ней слежку после всего того, что позволял себе сам, всего того, что было у меня на уме? Если она таким образом мне мстит, что мне было ей сказать? Я ж вел себя ничуть не лучше.

Знал бы кто-нибудь, как тяжело давались мне воспоминания о нашей замечательной жизни в Чикаго, когда Сидония вбегала ко мне со своей тетрадкой стихов или комком глины для лепки! Или в Бостоне, когда она шептала, как счастлива, как ей со мной хорошо. Или в студии на верхнем этаже на Вашингтон-сквер, куда она после ресторана поднималась, не замолкая ни на минуту. Бедное мое сердце! Как же судорожно сжималось оно – и сжимается до сих пор – от этих воспоминаний. Какие были дни! Как бы их вернуть! Быть вновь такими, какими мы были тогда!

Как-то раз, когда она куда-то уходила среди дня, я ее остановил:

– Скажи-ка, крошка, мы не расстаемся?

– Что ты, любимый! Нет! Нет! О нет! Никогда! Вот бы и мне умереть, когда умрешь ты, чтобы нас похоронили в одной могиле. – Ее ручки как канатом сдавили мне шею. В теплых карих глазах стояли слезы.

И все же, причем довольно скоро, мы расстались. Началось с того, что Сидония отправилась на гастроли с передвижным театром, с которым она тогда, за неимением ничего лучшего, связалась. Поехать с ней на все время я себе позволить не мог и приезжал только в те города, где они останавливались надолго, – в Чикаго, Сент-Луис, Питтсбург. Приезжать приезжал, но мечтал уже о другой, с которой только что познакомился. А она? Я часто размышлял, о ком думает она. И злился, негодовал, хотя виду не подавал. Улыбался, а сам клялся, что скоро, совсем скоро пошлю ее ко всем чертям!

А потом она поехала в Калифорнию – сниматься в кино, в самых тогда еще первых фильмах. И в свои письма вкладывала открытки (где-то они у меня затерялись) с видами: голливудское бунгало, солнце, цветы, утреннее и вечернее небо и «натурные съемки». Я разглядывал эти открытки, а сам неотступно думал: с кем она сейчас? С этим кинорежиссером! Он там? (Да, он был там.) С кем же еще!

И все же в наших тогдашних письмах: чудесных, длинных, ласковых, печальных, негодующих, страстных, – в письмах, в которых то и дело проскальзывали подозрения и упреки, сохранилась прежняя любовь. Некоторые страницы прямо-таки полыхали страстью!

Человеческие схождения и расхождения, встречи и прощания. Сходство и несхожесть. Иной раз я даже задавался вопросом: уж не иллюзия ли любовь? Состоятельна ли жизнь за отсутствием идеала? И не ограничивается ли наша цель в жизни самовосхвалением и самоуспокоением? А воздержание и верность ради давней любви, прошедшего счастья? Не являются ли они совершенно бессмысленным и смехотворным рыцарством? Только те, что способны на необузданное, непреодолимое влечение, вправе ответить на этот вопрос, так ведь? И еще одна мысль, пришедшая мне в голову сразу вслед за этой. Возможна ли истинная любовь между мужчиной и женщиной без близости, той близости, что, увы, вырождается в скуку? Мы что, вынуждены терпеть эту пресыщенность ради того только, чтобы испытывать более глубокую, более стойкую так называемую любовь? Воспоминания, что живут вечно, и любовное томление, что никогда не умрет, кончается скукой и лишает влюбленного бывшего счастья.

И вот в один прекрасный день, как раз когда Сидония была в отъезде, появилась Бертин и мгновенно завоевала мои мысли и чувства. Несомненно, как это часто бывает с женщинами, нашему сближению способствовала моя известность – своего рода гипноз славой, отнюдь не лестный для того, кто этой славой наделен. Как бы то ни было, на Сидонию моя очередная возлюбленная с бурным прошлым была совсем не похожа. Я сразу же увлекся бедностью и поэтичностью старого Юга и в то же время вовсе не собирался расставаться с Сидонией.

Ее калифорнийский ангажемент продолжался не один месяц. За это время Бертин, которой до смерти надоела приевшаяся секретарская работа, была у меня в студии частой гостьей и не без интереса разглядывала развешанные по стенам фотографии Сидонии и ее автопортрет маслом в полный рост. Какая же она стройная, по-кошачьи гибкая, такая восточная! Меня забавляла мысль, что здесь, в этих комнатах, внезапно сошлись два этих таких непохожих создания:

Сидония – законная хозяйка, и Бертин, мечтающая добиться взаимности.

И вот Сидония возвращается. А Бертин тем временем преследует меня телеграммами, записками, даже телефонными звонками – добивается меня. Я же рвусь на части. То ли расстаться с Бертин? То ли в необъяснимом порыве тоски отвернуться от Сидонии? Думать только о том, что наша связь зашла в тупик, что я ею пресытился и тем не менее должен сохранить ей верность (Почему должен? Ответ даст только сердце.)

Почему, скажи, я привязан к тебе, Мой тенистый, мой ласковый мирт?^[14]

И тут Сидония после моего очередного «приступа хандры» (ее выражение) с присущей ей решительностью поинтересовалась, уж не надоела ли она мне, не хочу ли я от нее избавиться, и сказала:

– Так больше продолжаться не может.

И хотя в глубине души отдавал себе отчет в том, что бессовестно лгу, я заверил ее:

– Нет, не надоела. Нет, не хочу.

И тем самым отложил этот тяжелый разговор на пару дней, самое большее – на пару недель. И все-таки чуть позже, несмотря на то что мы вновь были счастливы, вновь обрели друг друга, правда (или, если угодно, полуправда) всплыла на поверхность.

Произошло это, если не ошибаюсь, после *alfresco*, изысканного завтрака, который Сидония ухитрилась готовить «из ничего». Она сидела напротив меня за нарядно накрытым столом с серебряными приборами. Серо-зеленый халат, красные сандалии, волосы распущены. Соблазнительна, как всегда, но для других – не для меня: для меня даже ее соблазнительность была однообразна. Как же порочно человеческое сердце! О чем я в эти минуты думал, она, мне кажется, угадала по моим глазам. Быть может, я позволил себе какое-то невыразительное, малозначащее, бесцветное замечание. Сидония вскочила и устремила на меня свои сверкающие карие глаза:

– Возлюбленный! Уж не надоела ли я тебе? Ты, поди, от меня устал!

Нетрудно догадаться, что я ей ответил, причем не скрывая раздражения:

– С чего это ты взяла?

Но время уловок и отговорок, глупых или, наоборот, изящных, прошло безвозвратно. Говорить приходилось начистоту, и я это признавал. В голосе Сидонии чувствовалась категоричность, решительность и какая-то безысходность.

– Конечно же, я знала, что это произойдет, – сказала она, обращаясь скорее к себе, чем ко мне. – Давно знаю. Ах как же все это грустно! Я-то надеялась...

В ее взгляде, в том, как она говорила, чувствовалось нескрываемое отвращение к переменчивости, непостоянству и в то же время какая-то покорность. Невероятно.

Радость прощается, приложив палец к губам^[15]*

Не успела она договорить, как я вскочил, стиснул ее руку и только открыл рот, как она добавила:

– Что ж, я ухожу от тебя, любимый. Придется уйти. Не уговаривай меня. И не говори, что тебе не все равно. Пойми, если я останусь, ничего хорошего не будет.

И хотя я вступил с ней в спор: что-то говорил, убеждал, не стоит, мол, торопиться, – она ушла. Не знаю, куда и к кому. Я потом часто думал, куда и к кому.

Не могу передать, в какую чудовищную пропасть рухнуло мое сердце, на меня тяжким грузом навалился какой-то тяжкий физический, а также умственный недуг. Ушла! Сидония ушла! И это

после всех тех чудесных дней, что мы провели вместе. И вместе с ней ушли бурные страсти, обиды, мечты. И страх, ужасный страх, что все это время преследовал нас обоих. Наивно считать, что в человеке есть что-то кроме рассудка, что плоть страдает помимо мысли и нервов. Полная чушь! Вздор! Тешим мы себя и еще одной безумной иллюзией, полагая, что не существует того, что мы называем телепатией, передачей настроения и страданий на расстояние – так сказать, по беспроводному телеграфу.

Ученые мудрецы придерживаются этой вздорной точки зрения по сей день. Подобный вздор можно объяснить лишь недостаточным развитием нервных клеток. Всю жизнь меня преследует, разрывает мне сердце горькая истина: та, что близка мне духовно, далека от меня плотью. Сил сопротивляться этой истине не хватает, излечиться от нее можно лишь на время. Часто говорят о «злокачественном животном магнетизме». Да, такой магнетизм наверняка существует. Но как быть с умственной радиацией, которая вовсе не «злокачественна», а всего лишь тоскует и отчаивается. Рекомендую подумать об этом ученым мужам, что безвылазно сидят в библиотеках и лабораториях. Пора бы им заняться «ментальной радиоактивностью».

Но я отвлекся от своего тогдашнего угнетенного состояния. Много недель подряд после ее ухода я находился в самом беспросветном отчаянии. Перед моим мысленным взором проходили дни нашей совместной жизни. И вот однажды ночью, недели через две после ее ухода, я лежал в своей студии и пытался заснуть. Полночь, половина первого, два... Часы на башне по соседству пробили половину третьего, а я по-прежнему думал о ней. А потом я, должно быть, задремал; разбудил меня тихий, едва слышный стук в окно: тук-тук-тук. Кто бы это мог быть? И чем стучит? Ведь до окна с тротуара не достать. Страхнув с себя тяжелый, утомительный сон, я вскочил, не совсем понимая, что происходит, и выглянул из окна. В слабом свете далекого уличного фонаря стояла – наполовину на свету, наполовину в тени – Сидония с тросточкой в руках. Стояла, подняв голову, и с каким же печальным, отчаявшимся видом: боялась, видимо, меня не застать. Я распахнул окно. Ноябрь. Холодно.

– Сидония, родная! Бога ради, входи! Я спущусь и открою тебе дверь! – И я заключил ее – хныкающую, дрожащую от холода, духовно

истерзанную – в свои объятия. – Дитя мое, любимая моя, ты давно стучишь? Я спал.

– Ах, любимый, обними меня покрепче!

Сколько же раз она так говорила!

И я ее обнял, обнял изо всех сил. Но наступило утро, прошел день, и еще два-три дня, и во мне все переменилось. Какие же странные эти наши внутренние вспышки! Вопреки всем разумным доводам, они сжигают разум дотла, устанавливают новые правила, новые потребности.

А Сидония вновь и вновь повторяла, что сошлась со мной от слабости. Да, она приходила ночью, потому что до предела измучилась от соблазнов, от непреодолимого очарования былых дней. Но все впустую: излечиться от этого очарования она не могла. Все кончилось только потому, что невозможно было смириться с тем, что это должно кончиться. И хотя вернулась, понимала: конец близок, его не избежать. Я бы все равно не был бы ей верен, это было не в моих силах.

А она? Так ли уж она изменилась? Нет? Разве я об этом не догадывался? Кроме того, мы были слишком сильны (или слишком слабы), чтобы переносить измены друг друга, не отомстив. И это она тоже понимала не хуже меня. Ей тоже приходилось бороться с собой, не только мне. Разве мне это было неизвестно? Известно.

А потом я много дней подряд задавался мучительным вопросом, что же, в сущности, нас разлучило. Тоска. Усталость. Пресыщенность. Она должна уйти, сказала она. Накопилось много студийной работы. Сказала и ушла, пообещав (она позвонит мне по телефону, или я ей позвоню), что, может, вернется к ужину. Наступил вечер, но Сидония так и не появилась. И тогда я понял, что наступил конец. На следующий день Сидонии опять не было. Какие ж это были черные дни! Черные, мучительные, беспросветные. И все же, как бы ни страдал, как бы ни убивался, я понимал: она поступила мудро. «Возьми меня, но не связывай; люби меня, но отпусти». Она знала жизнь не хуже меня и была смелее меня.

И вот как-то вечером, месяц спустя, когда я сидел дома и мучился одиночеством, мне позвонила старая знакомая, (я не видел ее уже несколько месяцев, чуть ли не год). Она вернулась в Нью-Йорк с запада, где пела и танцевала в ревю. Как у меня дела? Я уже ужинал? Она остановилась в такой-то гостинице. Не заеду ли я к ней? Можем

встретиться где-то еще. Мне было так одиноко, что я обрадовался ее звонку и поспешил на свидание. Ужин с вином, разговоры за полночь. Как же хорошо, что мы опять вместе. Надо столько всего обсудить. Не приду ли я к ней в гостиницу? Или она ко мне? Увы, она предпочла приехать ко мне.

И опять – на мое несчастье, на мою беду – примерно в то же время, как и в прошлый раз, в окно постучали. Грустно так постучали: тук-тук-тук. И этот тихий, печальный звук отозвался в моей заблудшей душе. Я замер.

Это была Сидония! Как и тогда, она стояла и мерзла в темноте, но в этот раз подняться ко мне она не могла. Осторожно, чтобы она меня не увидела, я выглянул в окно убедиться, что это она, Сидония. Выглянул и отшатнулся. Этот пристальный, пытливый, ищущий взгляд. Впустить ее я не мог – не мог же я причинить ей такую боль! Но и выйти к ней не мог тоже: не объяснять же, почему ей нельзя ко мне подняться. Она сразу все поймет.

Спустя какое-то время, когда она ушла, я выпроводил свою подружку, вышел сам и стал бродить в темноте в поисках Сидонии. Ее нигде не было. Где ее искать, я не знал, она никогда не говорила, куда идет.

А через полгода пришло письмо. Она вернулась в Чикаго. И собирается замуж. Другого выхода нет. Появился кто-то, кто сумеет утешить ее духовно – так, во всяком случае, мне мнилось. Мне хотелось послать ей телеграмму, написать, чтобы она вернулась, чтобы не торопилась выходить замуж, не делала этой грустной, непоправимой ошибки. Однако раздумал. Ты что, действительно этого хочешь? – спрашивал я себя. И готов и дальше мучить ту, которая намучилась и без того, да и ты – тоже?

На ее письмо я не ответил. Ответом на него были мои мысли и печальные, мрачные часы, проведенные наедине с собой.

Примечания

1

Русская православная церковь Святого Николая на Восточной 97-й улице в Нью-Йорке. – *Здесь и далее примеч. пер.*

2

Имеется в виду Национальный мемориал 18-го президента США, участника Гражданской войны генерала *Улисса Гранта* (1822–1885) в Нью-Йорке на Риверсайд-драйв, напротив парка Риверсайд.

3

Династия американских предпринимателей; основатель – мультимиллионер *Корнелиус Вандербильт* (1794–1877).

4

Автор перефразирует библейское изречение: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Ин. 15:13.

5

Привидение-плакальщица в ирландском и шотландском фольклоре; ее появление предвещает скорую смерть.

6

Зигфелд Флоренс (1869–1932) – продюсер и постановщик бродвейских музыкальных ревю.

7

Ропс Фелисьен (1833–1898) – бельгийский художник-символист, автор картин с эротическими сюжетами.

8

Заповедник дикой природы в штатах Нью-Джерси и Пенсильвания на реке Делавэр; национальная зона отдыха.

9

Филд Юджин (1850–1895) – американский поэт и журналист; *Фуллер Генри Блейк* (1857–1929) – американский романист, новеллист и драматург, всю жизнь проживший в Чикаго; *Эйд Джордж* (1866–1944) – американский прозаик, драматург, автор комических рассказов; в начале своей карьеры писал для чикагского журнала «Рекорд».

10

«*Скитания Ойсина*» (1889) – поэма Уильяма Батлера Йетса (1865–1939).

11

«*Парень из Шропшира*» (1896) – собрание стихотворений английского поэта Артура Эдварда Хаусмена (1859–1936).

12

Доусон Эрнест Кристофер (1867–1900) – английский поэт-декадент, прозаик, новеллист.

13

Фэнл-холл – здание на рыночной площади, где во время Войны за независимость собирались патриотически настроенные граждане; национальный памятник архитектуры. *Старая Южная церковь* – церковь в Бостоне, построена в 1723 г. В ночь на 16 декабря 1773 г. здесь было спланировано «Бостонское чаепитие».

14

Строки из стихотворения «Под миртовым деревом» Уильяма Блейка (1757–1827).

15

Сидония цитирует изречение персидского поэта Хафиза Ширази Шамсуддина (ок. 1325–1389).